W 266/101

266
101

ПОДДѢЛКА „РУСАЛКИ" ПУШКИНА

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ И ЗАМѢТОКЪ

П. И. Бартенева, В. П. Буренина, С. Долгова, П. А. Ефремова, А. К-ва, Ѳ. Е. Корша, Л-на, К. Медвѣдскаго, Е. Пономарева, А. С. Суворина, Н. У-ва, Б. Н. Чичерина, Н. Ч., С. Южакова, В. С. Якушкина и другихъ

СОСТАВИЛЪ

А. С. СУВОРИНЪ

Публ. библ. имени В. И. Ленина С.С.С.Р.
ф.30-54

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНІЕ А. С. СУВОРИНА
1900

Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. 13

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТРАН.

I. О «Русалкѣ» Пушкина. А. Суворина 1
II. Тѣнь Пушкина. Замѣтка въ «Новостяхъ» Знакомаго 25
III. Хроника «Новаго Времени» 26
IV. Письмо въ редакцію «Новаго Времени» Е. Пономарева 28
V. О неизданномъ окончаніи «Русалки» Пушкина. Письмо въ редакцію «Русскихъ Вѣдомостей» Л—на 31
VI. О приготовляющемся къ изданію окончаніи поэмы «Русалка» Пушкина. Письмо въ редакцію «Русскихъ Вѣдомостей» Б. Чичерина 36
VII. Замѣтка «Московскихъ Вѣдомостей» 38
VIII. Письмо въ редакцію «Русскихъ Вѣдомостей» O. N. 39
IX. Окончаніе «Русалки» г. Зуева. —
1. Предисловіе г. Бартенева 40
2. «Запись» г. Зуева 42
3. Послѣсловіе г. Бартенева 55
X. Печать о записи г. Зуева. 59
XI. По поводу заключительныхъ сценъ Пушкинской «Русалки». Фельетонъ въ «Южномъ Краѣ» Н. Ч. 61

СТРАН.

XII. Литературныя замѣтки. Заключительныя сцены «Русалки». Фельетонъ въ «Моск. Вѣд.». К. Медвѣдскаго 70
XIII. То же. Еще о заключительныхъ сценахъ «Русалки». Тамъ же. Его же 79
XIV. О «Русалкѣ» Пушкина. Фельетонъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» В. Якушкина 87
XV. Критическіе очерки. Фельетонъ въ «Новомъ Времени» В. Буренина 104
XVI. Дневникъ журналиста. Пушкинская «Русалка». Изъ «Русскаго Богатства». С. Южакова. . . 120
XVII. Журналистика. Библіографическая замѣтка въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» 145
XVIII. Изъ русскихъ изданій. Попытка «припомнить» окончаніе «Русалки». Изъ «Книжки Недѣли». 151
XIX. А. Ѳ. Вельтманъ и его планъ окончанія «Русалки» Пушкина. Фельетонъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» С. Долгова 153
XX. Маленькія Письма въ «Новомъ Времени» А. Суворина:
Письмо CCCLXVI. 165
» CCCLXVII 175
» CCCLXVIII 188
» CCCLIX 185
» CCCLXX 217
Письмо въ редакцію «Нов. Врем.» А. К-ва. 219
» » » » » Н. У-ва. 225
XXI. Г. Суворинъ въ качествѣ научно-эстетическаго критика. Статья въ «Спб. Вѣд.» Ѳ. Корша. 228
XXII. Маленькія Письма въ «Нов. Врем.» А. Суворина:
Письмо CCCLXIII 243
» CCCLXIV. 252
» CCCLXV 261
» CCCLXVI 276

Поддѣлка „Русалки" Пушкина.

Хлестаковъ. Съ Пушкинымъ на дружеской ногѣ. Бывало, часто говорю ему: «Ну, что, братъ Пушкинъ?»—«Да такъ, братъ», отвѣчаетъ бывало: «такъ какъ-то все...» Большой оригиналъ.

Гоголь.

I.

О „РУСАЛКѢ“ ПУШКИНА.

Вступленіе. — Была ли окончена «Русалка» Пушкинымъ?—Разборъ «Записокъ А. О. Смирновой».—Источникъ Пушкинской «Русалки».—«Днѣпровская Русалка» Кауэра.

Инженеръ тайный совѣтникъ Д. П. Зуевъ, написавшій на своемъ вѣку множество стиховъ и даже говорившій стихами, увлекся примѣромъ Хлестакова, котораго такъ легко приняли за ревизора въ уѣздномъ городѣ. Будучи «маститымъ старцемъ» и тайнымъ совѣтникомъ, онъ не рисковалъ тѣмъ, что ему въ глаза скажутъ, что онъ свое сочиненіевыдаетъ за Пушкинское. Среди почтенныхъ людей, которые ему повѣрили въ столицахъ и даже въ Академіи Наукъ, не нашлось Марьи Андреевны, которая сказала Хлестакову, что «Юрій Милославскій» сочиненіе г. Загоскина, а не г. Хлестакова. Напротивъ онъ, авторъ поддѣлки «Русалки» по Пушкину, Штукенбергу и какому-то неизвѣстному сочинителю, скрывшемуся подъ

буквами И. О. П., нашелъ себѣ защитника въ лицѣ профессора московскаго университета Ѳ. Е. Корша, пользующагося репутаціей дѣйствительно ученаго филолога. Въ «Извѣстіяхъ Отдѣленія Русскаго Языка и Словесности Императорской Академіи Наукъ» (1898 г., т. III, кн. 3 и 1899 г., т. IV, кн. 1 и 2) этотъ ученый помѣстилъ обширный трудъ подъ заглавіемъ «Разборъ вопроса о подлинности окончанія «Русалки» Пушкина по записи Д. П. Зуева». Ученыя «Извѣстія» составляютъ такую библіографическую рѣдкость на редакціонныхъ столахъ журналистики, что хотя первая часть «Разбора» явилась въ 1898 г., объ немъ не было сказано ни одного слова ни въ газетахъ, ни въ журналахъ. Мнѣ попались эти «Извѣстія» случайно въ началѣ этого года, когда я сталъ дополнять свой экземпляръ «Извѣстій». Наскоро просмотрѣвъ сочиненіе г. Корша, я изумился его защитѣ явной поддѣлки, осужденной или цѣликомъ, или въ отдѣльныхъ частяхъ всѣми органами печати, обратившими на нее вниманіе. Также она была встрѣчена, еще до появленія своего въ печати, въ Русскомъ Литературномъ Обществѣ (см. «Критическія Замѣтки» В. П. Буренина, стр. 107 этой книжки).

Авторъ поддѣлки никому не внушалъ довѣрія, несмотря на то, что онъ читалъ прекрасно, а при такомъ чтеніи недостатки произведенія скрадываются. Вспоминая объ этомъ чтеніи, г. Ясинскій говоритъ въ «Бирж. Вѣд.», что «всѣ чувствовали себя неловко», потому что всѣ понимали, что

дѣло тутъ нечистое, но прямо сказать это человѣку, украшенному сѣдинами и чинами, никто не рѣшался. Г. Буренинъ помнитъ, что авторъ поддѣлки говорилъ на упомянутомъ чтеніи, что впервые записалъ «окончаніе» «Русалки», якобы слышанной имъ отъ Пушкина въ 1836 г., только въ 1883 г. По словамъ князя Д. Д. Оболенскаго (см. стр. 27), который слышалъ Зуевскую «Русалку» въ чтеніи П. И. Бартенева, до появленія ея еще въ свѣтъ, г. Зуевъ «списалъ» окончаніе «Русалки» съ рукописи Пушкина. А когда она явилась въ «Русскомъ Архивѣ», оказалось изъ словъ г. Бартенева, что Д. П. Зуевъ «записалъ» ее дома по памяти. Очевидно, онъ постепенно «обработывалъ» легенду о «записи», говоря то одно, то другое, какъ постепенно онъ поддѣлывался подъ языкъ Пушкина. Два письма о немъ, помѣщаемыя въ этой книжкѣ (см. стр. 219 и 225), одно пріятеля его, другое родственника, характеризуютъ его, какъ тщеславнаго стихомана и психопата. Въ семьѣ Зуевыхъ еще четверть вѣка тому было извѣстно, что Дмитрій Павловичъ *сочиняетъ* «окончаніе» «Русалки» и дѣлится нѣкоторыми сценами съ домашними. Самъ Дмитрій Павловичъ едва ли былъ знакомъ съ Пушкинымъ и Губеромъ, но братъ его, Петръ Павловичъ, говорятъ, встрѣчалъ нашего великаго поэта у Губера. Петръ Павловичъ умеръ въ 1895 г. и до его смерти Дмитрій Павловичъ не осмѣливался публиковать свое сочиненіе, какъ Пушкинское, хотя и читалъ его, выдавая за за-

писанное по памяти, но читалъ въ кружкахъ не гласныхъ и съ большою осторожностью. Смерть брата развязала ему руки.

Честь признанія поддѣлки за подлинникъ Пушкина принадлежитъ Москвѣ, ибо весь сыръ-боръ загорѣлся отъ Б. Н. Чичерина, извѣстнаго автора «Исторіи политическихъ ученій», «Курса государственнаго права» и другихъ столь же почтенныхъ сочиненій, съ поэзіей имѣющихъ мало общаго, если только въ его «политическихъ ученіяхъ» нѣтъ поэзіи. Онъ выписалъ отъ Д. П. Зуева его «запись», восхитился ея содержаніемъ, поджегъ ученаго филолога Ѳ. Е. Корша и историка П. И. Бартенева и запись была напечатана. Восхищеніе Б. Н. Чичерина было столь пламенно, что онъ, еще до появленія ея въ «Русскомъ Архивѣ», объявилъ письмомъ въ редакцію «Русск. Вѣд.», какъ о событіи, слѣдующее: «Нѣсколько разъ я читалъ вслухъ всю «Русалку», отъ начала до конца, и ни я, ни слушатели, одаренные поэтическимъ вкусомъ, не могли замѣтить разницы между подлиннымъ началомъ и записаннымъ на память концомъ». При этомъ онъ назвалъ Ѳ. Е. Корша и А. В. Станкевича, какъ «тонкихъ цѣнителей поэтическаго творчества», которые тоже «пришли къ убѣжденію, что это подлинное созданіе Пушкина». П. И. Бартеневъ, съ удовольствіемъ печатающій всякіе историческіе и литературные анекдоты,

какъ только услышалъ объ этомъ «анекдотѣ» съ «Русалкой», сейчасъ попросилъ Б. Н. Чичерина сообщить ему рукопись, «пришелъ въ восторгъ и просилъ разрѣшенія ее напечатать». И какъ было г. Бартеневу не придти въ восторгъ, когда ему сказали, что это самъ Пушкинъ! Сила внушенія изумительна. Ничтожество, попадающее на высокое мѣсто, тотчасъ же находитъ поклонниковъ, которые собираютъ его слова, какъ жемчужины, въ поученіе потомству. Л. Н. Толстой, приносящій статейку въ газету безъ своей подписи, отвергается, а когда онъ ставитъ подъ ней свое имя, статейка считается перломъ. Авторъ «Исторіи политическихъ ученій», обнаруживъ свой восторгъ, замѣтилъ однако, что «документальнаго доказательства подлинности его (окончанія «Русалки»), конечно, нельзя представить. Тутъ все рѣшается внутреннимъ поэтическимъ чувствомъ». Привлеченный къ этому дѣлу, Ѳ. Е. Коршъ рѣшилъ, вѣроятно, что «внутренняго поэтическаго чувства» мало, что въ данномъ случаѣ возможно найти «документальныя доказательства» получше тѣхъ, которыя разумѣлъ Б. Н. Чичеринъ. Стоитъ только изучить языкъ и стихъ Пушкина и сравнить ихъ съ языкомъ и стихомъ поддѣлки. Если окажется сходство, то останется только принять такое рѣшеніе: такъ какъ и у Пушкина, и у Зуева встрѣчаются тѣ же выраженія и тѣ же особенности стиха, то значитъ Пушкинъ самоповторился и «запись» можно принять за подлинную. Конечно, результаты та-

кого грамматическаго разбора могутъ доказывать скорѣе то, что Зуевъ повторялъ Пушкина, т. е. заимствовалъ у него и выраженія, и складъ стиха, но объ этомъ необходимо умолчать, ибо онъ, Ѳ. Е. Коршъ, благодаря нескромности автора «Исторіи политическихъ ученій», былъ уже объявленъ, еще до появленія «записи» въ печати, убѣжденнымъ въ томъ, что «запись» содержитъ дѣйствительно Пушкинское произведеніе. Ему надо было доказать, что и «внутреннее чувство» его не обмануло. Noblesse oblige. Отступленіе считается дѣломъ позорнымъ какъ на полѣ военной брани, такъ и на полѣ ученомъ и критическомъ. Это странно, но оно такъ. И вотъ Ѳ. Е. Коршъ сталъ собирать филологическіе «документы» и собралъ ихъ на 23 печатныхъ листа, которые и явились въ изданіи Академіи Наукъ, доказывая филологическія познанія автора и не доказывая того, что доказать онъ желалъ, отправляясь въ походъ и совершая его.

Въ то время, когда происходилъ этотъ ученый «заговоръ» съ цѣлью приклеить къ «Русалкѣ» Пушкина мочальный хвостъ, журналистика убѣждала, что мочальный хвостъ дѣйствительно мочальный. Только одинъ г. Южаковъ въ «Русскомъ Богатствѣ» нашелъ въ «записи» сотню болѣе или менѣе Пушкинскихъ стиховъ, но и то съ большими оговорками, сопроводивъ ихъ требованіемъ отъ гг. Чичерина и Бартенева обстоятельнаго «палеографическаго обзора» подлинной рукописи, современной 1836 году, такъ какъ

г. Зуевъ увѣрялъ, что записалъ именно въ этомъ году (стр. 122—124 этой кн.). О г. Коршѣ г. Южаковъ не упоминалъ, ибо тогда, въ 1897 году, онъ только намѣревался притянуть къ дѣлу филологическій аппаратъ. Гг. Чичеринъ и Бартеневъ остались глухи къ этому требованію, а г. Коршъ объявилъ, что подобныя требованія,—когда я напомнилъ о нихъ по поводу его «Разбора»,—вздоръ, о которомъ и говорить нечего...

Въ настоящей книгѣ я рѣшился соединить все, что было напечатано объ этой поддѣлкѣ «Русалки», кромѣ, разумѣется, «Разбора» г. Корша, который явился въ книгѣ, легко пріобрѣтаемой всякимъ интересующимся этимъ «дѣломъ». Но газетный отвѣтъ его мнѣ я перепечаталъ. Надѣюсь, ни онъ, ни другіе критики не будутъ за это на меня въ претензіи, такъ какъ дѣло стоитъ того, чтобъ читатели могли сами разобраться, на чьей сторонѣ правда. П. Е. Ефремовъ доставилъ мнѣ, по моей просьбѣ, все, что онъ собиралъ по этому «анекдоту». Я прибавилъ то, что было у меня, и свои «Маленькія Письма», въ которыхъ я полемизировалъ съ Ѳ. Е. Коршемъ [1]). Такъ какъ ученый филологъ относился по большей части отрицательно къ журнальнымъ критикамъ, разбиравшимъ «запись», то мнѣ приходилось останавливаться иногда на тѣхъ же мѣстахъ этой «записи», о которыхъ они уже высказывали свое мнѣніе. Такимъ

[1]) Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ я сдѣлалъ необходимыя добавленія и умножилъ цитаты изъ «Разбора» г. Корша.

образомъ въ этой книгѣ читатели найдутъ повторенія, но вовсе избѣжать ихъ было невозможно, такъ какъ иначе приходилось бы ограничиться сводкою всѣхъ мнѣній воедино, а подобная сводка могла бы носить характеръ односторонности.

Всѣ замѣтки и статьи, вызванныя дѣломъ «Русалки», я расположилъ въ хронологическомъ порядкѣ, по времени появленія ихъ въ разныхъ органахъ печати. Я поступилъ такъ потому, что въ дѣлѣ защиты творчества Пушкина отъ посторонней прибавки принимали участіе болѣе или менѣе всѣ партіи. Мочальный хвостъ къ Пушкину приклеивали ученые вмѣстѣ съ издателемъ «Русскаго Архива», а отклеивала его и отбросила прочь навсегда—журналистика въ лицѣ своихъ представителей.

Была ли окончена «Русалка» Пушкинымъ? По моему мнѣнію, нѣтъ. Онъ могъ думать объ ея окончаніи, но намѣренія своего не привелъ въ исполненіе. Показаніе «Записокъ А. О. Смирновой» ничего не доказываетъ. Самыя эти «Записки» не возбуждаютъ къ себѣ полнаго довѣрія. Извѣстно, что онѣ составлены были на французскомъ языкѣ ея дочерью, Ольгой Николаевной, умершей въ Парижѣ 13 декабря 1893 года, и появились въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», а потомъ отдѣльной книгою, въ двухъ частяхъ (1895—1897). Самыя предисловія и редакціи «Сѣвернаго Вѣстника», и Ольги Николаевны указываютъ на большой безпорядокъ въ этихъ «За-

пискахъ». «Потребовалось, говоритъ О. Н—на, не мало труда и терпѣнія, чтобъ привести въ систему отдѣльные листки и собрать замѣтки, разбросанныя въ альбомахъ рядомъ со стихами, рисунками, засушенными цвѣтами, или въ записныхъ книжкахъ, рядомъ съ извлеченіями изъ прочитанныхъ книгъ». Хотя О. Н—на и прибавляетъ къ этому, что она «ничего не прибавляла, ничего не измѣняла», но этому трудно повѣрить при тѣхъ условіяхъ работы, на которыя она сама указываетъ. Сколько мнѣ извѣстно, собственно «Записки» самой Александры Осиповны Смирновой едва ли и существуютъ, по крайней мѣрѣ въ томъ понятіи, которое сопряжено со словомъ «Записки», «Мемуары». Все, что напечаталъ «Сѣверный Вѣстникъ», было передано ему, по словамъ его редакціи, «въ рукописныхъ листахъ, изъ которыхъ только немногіе были переписаны четкимъ почеркомъ, а прочіе рукою самой О. Н. Смирновой,—почеркомъ болѣзненнымъ, неправильнымъ, съ недописанными словами, съ страннымъ однообразіемъ въ начертаніи разныхъ буквъ». Быть можетъ, въ значительной части своей это скорѣй «Записки» дочери, Ольги Николаевны, а не матери ея, находившейся въ дружескихъ отношеніяхъ съ Пушкинымъ, Жуковскимъ, Гоголемъ и др. Лица, знавшія Ольгу Николаевну, никогда не видали у нея ни одного клочка «Записокъ» ея матери.

Если даже считать эти «Записки» подлинными во всѣхъ подробностяхъ, онѣ менѣе всего

удостовѣряютъ, что «Русалка» была окончена. Г. Якушкинъ говоритъ, что эти «Записки» убѣждаютъ скорѣе въ противоположномъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Записки» сообщаютъ о разговорахъ, за нѣсколько дней до роковой дуэли, Пушкина съ Жуковскимъ и друзьями о разныхъ разностяхъ (стр. 127—128 этой кн.). Вспомнилъ Пушкинъ по поводу «Ундины» Жуковскаго о своей балладѣ «Русалка», написанной имъ въ 1819 году, и о «другой русалкѣ, своей лирической драмѣ, затѣмъ передалъ имъ *конецъ* драмы». Вотъ и все. А. О. Смирнова не присутствовала при этихъ разговорахъ, а слышала объ нихъ. Ѳ. Е. Коршъ, въ своемъ «Разборѣ вопроса о подлинности окончанія «Русалки», останавливаясь на коротенькомъ извѣстіи «Записокъ», толкуетъ его двояко: и такъ, что Пушкинъ «передалъ» самую *рукопись* конца «Русалки», и такъ, что онъ передалъ только *содержаніе* «конца» ея. Въ статьѣ же его, посвященной мнѣ (см. стр. 231), говоритъ уже прямо, что «Записки» Смирновой разумѣютъ передачу друзьямъ Пушкина *самой рукописи* и что эта рукопись могла очутиться у Зуева. Такое толкованіе прямо невозможно. Пушкинъ «*разсказывалъ* имъ (друзьямъ) о своей русалкѣ... и о другой русалкѣ, затѣмъ передалъ имъ конецъ драмы», значитъ передалъ «въ разсказѣ». Простой грамматическій смыслъ «Записокъ» говоритъ за это. Да и зачѣмъ ему было передавать рукопись «Русалки»? Если онъ предчувствовалъ, что дуэль кончится его смертью и что необходимо, поэтому, распорядиться своими рукописями, то онъ *пере-*

далъ бы ихъ всѣ, какія у него были. Но, по свидѣтельству «Записокъ», Пушкинъ былъ спокоенъ и никакихъ распоряженій не дѣлалъ. Наконецъ, если «передалъ» рукопись, то почему только «конецъ» ея, а не всю «Русалку»? Вѣдь «Записки» ясно говорятъ: «передалъ имъ *конецъ* драмы». Какое тутъ можетъ быть другое толкованіе, кромѣ единственно-правильнаго, что онъ передалъ имъ въ разсказѣ содержаніе конца драмы, начало которой имъ было извѣстно. Еслибъ было сказано, что онъ «передалъ драму», тогда можно еще было толковать это мѣсто и двояко. «Русалка» не политическая сатира, которую надо было прятать. Ѳ. Е. Коршу, конечно, необходимо опереться на эти «Записки» и толковать ихъ такъ, какъ онъ истолковываетъ ихъ теперь. Но всѣмъ извѣстно, что бумаги и рукописи Пушкинъ никому не передавалъ ни до дуэли, ни послѣ дуэли. Часть рукописей могла пропасть во время безпорядка послѣ его смерти и описи его бумагъ, но не ранѣе.

Что касается тѣхъ рукописей, изъ которыхъ извлечена между прочимъ и «Русалка» въ своемъ неоконченномъ видѣ и которыя находятся въ Румянцовскомъ музеѣ и у частныхъ лицъ, то лица, знакомыя съ ними, никогда не могли въ нихъ открыть никакого слѣда по работѣ «окончанія» «Русалки». Гг. Якушкинъ, Ефремовъ, Морозовъ, Шляпкинъ, Онѣгинъ, у котораго въ Парижѣ есть рукописи Пушкина, еще не напечатанныя, не могли открыть ни одного стиха, который отно-

сился бы къ окончанію «Русалки». Какъ бы небрежно ни обращались съ рукописями Пушкина послѣ его смерти, трудно допустить, что исчезла именно рукопись конца «Русалки», тогда какъ начало ея сохранилось и сохранились черновыя. Въ одномъ изъ «Маленькихъ Писемъ» (стр. 188—195 этой кн.) я высказалъ нѣсколько соображеній о томъ, почему Пушкинъ не окончилъ «Русалки». Правъ я или нѣтъ, не мнѣ рѣшать. Но еслибъ конецъ «Русалки» и отыскался, то онъ несомнѣнно не могъ бы имѣть ничего общаго съ грубою и даже мѣстами глупою поддѣлкой г. Зуева.

Какъ слѣдуетъ рѣшить вопросъ о пѣснѣ «Янышъ-Королевичъ», послужившей матеріаломъ для «Русалки», и на этой ли пѣснѣ Пушкинъ основалъ свою драму? До сихъ поръ никто не сказалъ, существуетъ или нѣтъ эта пѣсня въ какихъ-нибудь сборникахъ славянской народной поэзіи. Наши слависты не обращали на этотъ вопросъ вниманія, какъ и издатели сочиненій Пушкина. П. В. Анненковъ переписывался съ англійскими литераторами, желая знать, существуетъ ли въ англійской литературѣ писатель Ченстонъ, которому Пушкинъ приписалъ своего «Скупого Рыцаря»? Теперь несомнѣнно, что это произведеніе принадлежитъ Пушкину всецѣло. «Пѣсни Западныхъ Славянъ» взяты большею частію изъ «La Guzla», сборника пѣсенъ, сочиненныхъ извѣстнымъ французскимъ писателемъ Пр. Мериме, но

выданныхъ имъ за національныя пѣсни Далмаціи, Босніи, Кроаціи и Герцеговины, и эта поддѣлка многихъ обманула, даже Мицкевича, а можетъ быть и Пушкина.

Почему же самъ Пушкинъ не могъ сочинить «Яныша-Королевича»? Анненковъ («Матеріалы», 375) говоритъ, что «Пѣсня о Георгіѣ Черномъ» и «Воевода Милошъ», по всей вѣроятности, принадлежатъ самому Пушкину. Среди «Пѣсенъ Западныхъ Славянъ» «Янышъ-Королевичъ» —прямо перлъ и по формѣ, и по содержанію, и по мысли. Ни одна другая пѣсня не идетъ въ сравненіе съ этою по истинному драматизму и даже по красотѣ стиха. Самое примѣчаніе Пушкина къ этой пѣснѣ говоритъ въ пользу предположенія, что это именно его стихотвореніе. «Пѣсня о Янышѣ-Королевичѣ», говоритъ Пушкинъ, «въ подлинникѣ очень длинна и раздѣляется *на нѣсколько частей*. Я перевелъ первую и то не всю». Что это за длинная пѣсня, которая раздѣляется на нѣсколько частей? Почему онъ не сказалъ, на сколько именно частей? Въ примѣчаніи этомъ сквозитъ какое-то пренебреженіе къ этой «длинной» пѣснѣ и притомъ притворное, возможное только къ своему произведенію. Анненковъ, перечисляя источники «Пѣсенъ Западныхъ Славянъ», замѣчаетъ неопредѣленно, что «Янышъ-Королевичъ» взятъ «изъ чешскихъ народныхъ сказаній». Г. Коршъ по этому поводу говоритъ («Извѣстія» 1898 г., т. III, 3 кн., ст. 739), что Пушкинъ задумалъ драму «Русалка» раньше, чѣмъ познакомился съ «La Guzla» Мериме; «но

увлеченіе драматической поэзіей уступило въ Пушкинѣ мѣсто новому интересу—народно-эпическому, возникшему въ немъ на этотъ разъ подъ вліяніемъ пересмотра записанныхъ имъ сказокъ и еще прежде начатой обработки ихъ», а также подъ вліяніемъ сборника Мериме, и «вотъ онъ придалъ задуманной имъ «Русалкѣ» эпическую форму, пустилъ свое произведеніе въ свѣтъ, по примѣру Мериме, подъ видомъ перевода съ какого-то славянскаго подлинника—и съ тѣмъ же успѣхомъ: Анненковъ, вѣроятно, на основаніи 5-го стиха — «На Любусѣ, чешской королевнѣ», принялъ «Яныша-Королевича» за чешское сказаніе, и мнѣніе его повторяется до нашихъ дней, несмотря на участіе сербскихъ вилъ въ этой будто-бы чешской пѣснѣ».

Сколько мнѣ извѣстно, это первое указаніе на то, что «Янышъ-Королевичъ» написанъ самимъ Пушкинымъ. Но чѣмъ Пушкинъ наведенъ былъ на сюжетъ «Русалки»?

По моему мнѣнію, несомнѣнно опереткой «Русалка»[1]), которая съ своей стороны основана на

[1]) Вотъ ея заглавіе: «Русалка, опера комическая въ трехъ дѣйствіяхъ. Часть I. Передѣланная съ нѣмецкаго Н. К. Музыка гг. Каура и Давыдова. Представлена въ первый разъ въ Санктпетербургѣ октября 26 дня 1803 года. Съ дозволенія с.-петербургскаго гражданскаго губернатора. Въ Санктпетербургѣ въ Театральной Типографіи 1804». Посвящена «Главному директору надъ театральными зрѣлищами Александру Львовичу Нарышкину». Подъ этимъ посвященіемъ полное имя автора передѣлки: Николай Краснопольскій. Вторая часть вышла въ 1805 г. подъ заглавіемъ «Днѣ-

древнемъ преданіи, какъ объ этомъ сказано въ оригиналѣ. «Днѣпровская Русалка» переводъ «Donauweibchen», соч. Фердинандомъ Кауэромъ (1751—1831). Кауэръ (Kauer) родился въ Моравіи, гдѣ провелъ свое дѣтство и отрочество. Еще мальчикомъ былъ уже онъ органистомъ въ Знаимѣ, городѣ на моравской рѣкѣ Тайя. Перебравшись въ Вѣну, онъ управлялъ оркестрами въ разныхъ театрахъ и написалъ однѣхъ оперъ и пьесъ съ пѣніемъ около 200. Его оперетки пользовались огромнымъ успѣхомъ и приносили большія деньги театрамъ, но не ему. Особеннымъ успѣхомъ пользовалась «Donauweibchen», которая и доселѣ еще играется на провинціальныхъ сценахъ Германіи. Въ старости Кауэръ жилъ бѣдно на скудныя подачки одного изъ вѣнскихъ театровъ, которому онъ далъ большія деньги своими произведеніями. Судьбѣ угодно было, чтобы и надъ нимъ горько подшутила Дунайская волна, изъ которой онъ выводилъ свою «Donauweibchen» и которая шутила шутки надъ людьми: за годъ до смерти наводненіемъ Дуная уничтожены были послѣднія крохи его сбереженій и всѣ его музыкальныя рукописи погибли въ волнахъ. «Днѣпровская Русалка» пользовалась и у насъ огромнымъ успѣхомъ

ровская Русалка», безъ посвященія; 3-я часть, подъ заглавіемъ «Леста, Днѣпровская Русалка», съ обозначеніемъ только одного композитора, Давыдова, вышла въ 1806 г. Четвертая часть вышла въ 1807 г., подъ заглавіемъ «Русалка», безъ обозначенія именъ композиторовъ. Начиная со второй части—«съ дозволенія спб-го цензурнаго комитета».

и не сходила со сцены вплоть до пятидесятыхъ годовъ, особенно въ провинціи. Такимъ образомъ «Donauweibchen» несомнѣнно славянскаго происхожденія и основана на славянскихъ преданіяхъ.

«Днѣпровская Русалка» явилась въ четырехъ частяхъ на петербургской сценѣ: 20-го октября 1803 г.—1-я часть, 5-го мая 1804 г.—2-я часть, 25-го октября 1805 г.—3-я часть и 1807 г.—4-я часть. Въ каждой части 3 дѣйствія. Части эти мало отличаются другъ отъ друга и въ существенныхъ чертахъ только повторяютъ то, что уже есть въ первой части. Особенно ничтожна 4-я часть. Наибольшимъ успѣхомъ пользовалась всегда первая часть.

Арія русалочки Лиды [1]), дочери русалки Лесты, помѣщалась во всѣхъ сборникахъ пѣсенъ, а первый куплетъ ея чуть не обратился въ поговорку:

Мущины на свѣтѣ
Какъ мухи къ намъ льнутъ,
Имѣя въ предметѣ,
Чтобъ насъ обмануть.

Такою же популярностью пользовалась арія русалки Лесты (переодѣтой въ цыганку) въ 3-й части:

Передѣлка заключалась только въ передѣлкѣ именъ. Гартвигъ, графъ Бургау—Славомыслъ, князь черниговскій; Берта—Милослава; рыцарь Альбрехтъ Вальдзее—Видостанъ, князь полоцкій; Каспаръ Ларифари—Тарабаръ; Гульда, дунайская русалка — Леста, днѣпровская русалка; Лилли, ея дочь—Лида, ея дочь, и т. д. Весь текстъ—простой переводъ. Въ оригиналѣ сказано, что сюжетъ заимствованъ изъ древняго преданія.

[1]) Любопытно, что Лидѣ 5 лѣтъ, и Русалочкѣ Пушкина отъ 5 до 8 лѣтъ. См. сцены III и IV «Русалки» Пушкина.

Я цыганка молодая,
Я цыганка не простая,
Знаю ворожить.
Все, что будетъ, я узнаю,
И что было, отгадаю,
Ни въ чемъ не солгу.
Если что съ тобой случится,
Если горе приключится,
Меня позови.
А теперь прощай, дружочикъ,
Ты мой сизой голубочикъ,
Мнѣ пора домой.

Если освободить эту оперетку отъ переодѣваній и всякой чертовщины, которой въ ней великое множество, а также отъ эпизодическихъ лицъ (среди нихъ комическое лицо, конюшій Тарабаръ, занимаетъ много мѣста), то увидимъ, что основа этой «Лесты, Днѣпровской Русалки» совершенно та же, что и Пушкинской «Русалки». Мало этого, можно найти и ближайшія черты сходства, указывающія на то, что Пушкинъ видѣлъ эту «Русалку» на сценѣ и имѣлъ въ рукахъ и книжку. Впрочемъ, онъ самъ засвидѣтельствовалъ о томъ, что хорошо зналъ «Днѣпровскую Русалку» этими стихами въ «Евгеніѣ Онѣгинѣ» (гл. 2-я, стр. XII):

И запищитъ она (Богъ мой!):
«Приди въ чертогъ ко мнѣ златой!..»

Примѣчаніе его къ этимъ стихамъ говоритъ: «Изъ первой части «Днѣпровской Русалки» [1]).

[1]) Примѣчаніе это явилось только во второмъ изданіи «Евгенія Онѣгина», въ 1833 г. Очевидно, арія была такъ популярна, что сначала и не требовалось примѣчанія, откуда она взята.

*

Дѣйствіе начинается на берегу Днѣпра. Видостанъ, князь полоцкій, ѣдетъ со своею свитою къ своей невѣстѣ Милославѣ, дочери Славомысла, князя черниговскаго. По дорогѣ Видостанъ охотится на медвѣдя, который, спасаясь отъ его преслѣдованія, бросается въ Днѣпръ. Раздается громъ и «являются въ волнахъ рѣки плавающія Леста и Лида, окруженныя русалками, которыя мѣтятъ изъ луковъ стрѣлами въ Видостана» и кричатъ ему, чтобы онъ остановился. Русалки исчезаютъ, заслышавъ рога охотниковъ. Видостанъ садится подъ дерево въ размышленіи: «*Листья съ дерева на него сыплются*». Въ сценѣ IV Пушкинской «Русалки», въ монологѣ Князя, есть ремарка: «*идетъ* къ дверямъ; *листья сыплются*». Г. Коршъ, можетъ быть, правъ, говоря, что тутъ, вѣроятно, слѣдуетъ читать: «*идетъ къ дереву*». Если это такъ, то одна и та же ремарка и въ «Русалкѣ», передѣланной съ нѣмецкаго, и въ «Русалкѣ» Пушкина. Вслѣдъ за этимъ раздается пріятное пѣніе Лесты:

Приди въ чертогъ ко мнѣ златой,
Приди, о князь ты мой драгой;
Тамъ всѣ пріятства соберешь,
Невѣсту милую найдешь.

И т. д. Леста является изъ волнъ, держа въ рукахъ Лиду, и говоритъ: «Неужели ты меня забылъ? Ты нѣкогда имѣлъ убѣжище въ моей хижинѣ, укрываясь отъ ужасной бури, которая застигла тебя въ лѣсу; о, Видостанъ! я приняла тебя тогда въ мои объятія, и пріятный сонъ воз-

становилъ спокойствіе въ душѣ твоей». Видостанъ: «Какъ? О ужасная мысль! Неужели ты?»—Леста: «Ятвоя пріятельница!»—Видостанъ: «Пріятельница! (Онъ приближается къ берегу. Леста погружается въ рѣку и исчезаетъ въ волнахъ)». Привожу эту сценку, какъ образчикъ «художественной краткости», которою отличается и г. Зуевъ въ своей поддѣлкѣ...

Леста появляется въ разныхъ видахъ: старухи, барыни, молодого витязя, царицы русалокъ, молдаванки, пустынницы, цыганки, прародительницы, волшебницы Честаны, прачки и проч., и проч. и также въ видѣ *дочери мельника*. Отъ Видостана она требуетъ, чтобъ онъ любилъ ее три дня въ году, въ остальное время онъ свободенъ. Она приходитъ къ нему на свадьбу съ дочерью своей и проситъ позволенія у Милославы протанцовать съ Видостаномъ. Получивъ позволеніе, она беретъ кубокъ въ руки, для здравицы, кубокъ воспламеняется, раздается громъ и Леста проваливается съ Видостаномъ, сказавъ:

Повелѣваю всѣмъ ослѣпнуть вамъ!
Землѣ трястись!—обрушиться стѣнамъ!
Любови жертва въ сію ночь
Восхитится отсюда прочь!

Затѣмъ Лида, «играя на волшебныхъ рыляхъ», «машетъ рукою» и является почти тотъ же самый апоѳеозъ, который мы теперь видимъ на сценѣ Маріинскаго театра въ «Русалкѣ» Даргомыжскаго:

(Театръ перемѣняется и представляетъ хрустальные чертоги Русалки, на днѣ Днѣпра. Леста на

возвышенномъ тронѣ. Видостанъ предъ нею на колѣняхъ. По ступенямъ стоятъ съ розовыми гирляндами русалки, держащія надъ любовниками розовые вѣнки).

ХОРЪ РУСАЛОКЪ СЪ БАЛЕТОМЪ.

Блаженствуй, царица духовъ,
Въ счастьѣ свой вѣкъ провождай!
Нѣжнаго друга лаская,
Сладость любовью внушай.

(Всѣ прочія находятся въ переди очарованы, въ разныхъ положеніяхъ).

Второе дѣйствіе открывается тѣми же чертогами русалки и тою же картиной, какими окончилось первое дѣйствіе.

Хоръ русалокъ поетъ:

Любови подвигъ совершенъ,
Волшебствомъ Лесты утвержденъ!

Ударяетъ громъ и представляетъ чертоги князя Славомысла, «откуда Видостанъ былъ похищенъ русалкою. Лида является, играетъ на рыляхъ, всѣ мало по малу приходятъ въ чувство. Видостанъ въ объятіяхъ Милославы». Всѣ поютъ:

Что было здѣсь? — Или то сонъ?
Непостижимъ и страшенъ онъ!
и проч.

Сцена эта напоминаетъ похищеніе Черноморомъ Людмилы и оцѣпенѣніе гостей. Вообще вліяніе этой оперетки и на «Руслана и Людмилу» несомнѣнное. Русалка способствовала въ извѣстной степени направленію фантазіи Пушкина и дала темы для нѣкоторыхъ подробностей его фантастической и веселой поэмы.

Я не стану разсказывать дальнѣйшее содержаніе этой «Русалки». Русалка тутъ всемогуща; она повелѣваетъ стихіями:

Что хочу, то совершаю,
Я стихіи укрощаю!
Земля, воздухъ, огнь, вода
Мнѣ послушны навсегда.

Она созданіе веселое, беззаботное, шаловливое. Въ Видостанѣ она принимаетъ участіе, ибо осталась вѣрна своей любви къ человѣку, который прижилъ съ нею дочь. Бросилась ли она въ рѣку, въ опереткѣ не говорится. Она какъ будто и ревнуетъ Видостана къ молодой женѣ, и старается устроить его благополучіе съ нею. Но Видостанъ, находясь между Лестой и Милославой, постоянно скучаетъ то по одной, то по другой. То привлекаютъ его чары русалки, то молодой жены. Онъ выходитъ на берегъ Днѣпра въ такой же меланхоліи, какъ Князь у Пушкина. Какъ у Пушкина, его ищутъ охотники, «чтобъ успокоить Княгиню». Его терзаетъ и раскаяніе, и любовь. Онъ не хочетъ возвращаться домой, гдѣ его «ждутъ скучные упреки отъ Милославы». Какое-то волшебное «очарованье» влечетъ его на берегъ Днѣпра, какъ и Князя у Пушкина:

О, мѣста, мѣста пріятны!
Къ вамъ въ печали прихожу.
Здѣсь мои вамъ стоны внятны,
Здѣсь утѣху нахожу.

или:

Вездѣ лишь скуку я встрѣчаю,
Ничто меня не веселитъ,
Всечасно мучусь и страдаю,

Спокойство отъ меня бѣжитъ,
Страшусь узнать тому причину,
Стараюсь убѣжать отъ всѣхъ, и проч.

По всѣмъ 12-ти дѣйствіямъ проходитъ этотъ меланхолическій Видостанъ, напоминая то Руслана, то Князя въ «Русалкѣ». Пушкинская «Русалка», разумѣется, глубоко отличается отъ «Днѣпровской Русалки», какъ трагедія отличается отъ фарса, въ которомъ всякій смыслъ принесенъ въ жертву публикѣ, которую желаютъ занять и развеселить. Но эта «Днѣпровская Русалка» запала въ душу поэта и дала ему сюжетъ и намеки на сцены и положенія. Въ обѣихъ «Русалкахъ», Пушкинской и Днѣпровской, Русалка и Русалочка, Княгиня, свадьба, смущенная появленіемъ Русалки, ревность Милославы, поиски Князя, котораго «влечетъ невѣдомая сила» къ берегамъ Днѣпра, какъ и Видостана. Въ «Днѣпровской Русалкѣ» все это болѣе или менѣе въ комическомъ видѣ, у Пушкина—настоящая драма, съ ярко написанными характерами, въ духѣ русской народности и ея преданій. Между этими характерами особенно выдается мельникъ, котораго совсѣмъ нѣтъ въ опереткѣ, передѣланной съ нѣмецкаго. Раньше ли пѣсни объ «Янышѣ-Королевичѣ» задумалъ Пушкинъ драму «Русалка», или сначала задумалъ и написалъ пѣсню объ «Янышѣ-Королевичѣ»,—первоначальный источникъ одинъ и тотъ же—передѣлка на русскій языкъ «Donauweibchen».

23-го марта 1900 г. А. Суворинъ.

II.

Тѣнь Пушкина.

(«Новости», 15 фев. 1889 г., № 46).

Дѣло происходитъ въ засѣданіи Русскаго Литературнаго Общества. Маститый Д. П. Зуевъ, по приглашенію Совѣта Общества, сообщаетъ три неизвѣстныя въ печати и записанныя на память сцены изъ «Русалки» Пушкина.

Въ засѣданіи присутствуютъ около тридцати членовъ Общества: есть тутъ и литераторы, и любители литературы,—есть и старики, справившіе уже пятидесятилѣтіе своего служенія родному слову, и почти еще юноши, отъ которыхъ только еще ждутъ чего-то; есть и поэты, и беллетристы, и драматурги, и критики,—есть и консерваторы, и либералы... но—посмотрите! достаточно почтенному докладчику произнести слова: «мнѣ было четырнадцать лѣтъ, когда меня представили Пушкину»—какъ всѣ эти различія исчезаютъ: и старики и юноши, и консерваторы и либералы, затаивъ дыханіе и вперивъ взоры въ чтеца, точно одинъ человѣкъ, слушаютъ сначала необходимое

предварительное повѣствованіе, потомъ самыя сцены...

Чтеніе окончено. Какъ бы очнувшіеся отъ очарованія, слушатели благодарятъ докладчика продолжительными рукоплесканіями. Возникаетъ рядъ вопросовъ: Почему прочитанныя сцены оставались до сихъ поръ неизвѣстными? Чѣмъ можно объяснить замѣченныя несоотвѣтствія первоначальному плану пьесы? Откуда взялись нѣкоторыя уклоненія отъ присущихъ поэту стихотворныхъ формъ? Вопросы эти обсуждаются какъ-то особенно истово, сдержанно и примирительно. Каждое замѣчаніе или возраженіе дѣлается точно по обязанности, чтобы не нарушать заведеннаго порядка. Великая тѣнь потревожена—и всѣ ощущаютъ ея присутствіе, всѣ проникаются ея близостью, всѣ готовы смириться передъ нею [1].

Знакомый.

III.

Хроника „Новаго Времени".

(15-го января 1897 г., № 7502).

Князь Д. О. (Д. Д. Оболенскій?) пишетъ намъ изъ Москвы: «Въ «Русскомъ Архивѣ» (П. И. Барте-

[1]) Необходимо замѣтить, что засѣданія Русскаго Литературнаго Общества были негласными и члены его обязывались не печатать ничего о засѣданіяхъ. Г. Знакомый нарушилъ это правило и, вѣроятно, потому его отчетъ написанъ въ такихъ общихъ выраженіяхъ, причемъ даже не сказано, кѣмъ «записаны на память» три сцены. *А. С—нъ.*

невъ) въ скоромъ времени появится весьма интересная находка, а именно: продолженіе и конецъ «Русалки» Пушкина, оставшейся, какъ извѣстно, неоконченною. Рукопись, заключающая въ себѣ до 200 стиховъ, доставлена въ редакцію «Русскаго Архива» и уже набрана. Читавшіе ее знатоки признаютъ ее несомнѣннымъ произведеніемъ Пушкина, да и самое ея происхожденіе не оставляетъ сомнѣнія въ подлинности ея. Въ ноябрѣ 1836 года Пушкинъ часто посѣщалъ поэта Губера (переводчика «Фауста»), котораго весьма любилъ, и читалъ ему всю «Русалку». Чтеніе ея такъ понравилось Губеру, что онъ просилъ его повторить, что и было исполнено. При вторичномъ чтеніи 3-е лицо, присутствовавшее, списало «Русалку» отъ начала до конца. И вотъ эта рукопись доставлена редактору «Русскаго Архива» П. И. Бартеневу, который читалъ мнѣ нѣсколько прелестныхъ отрывковъ. Извѣстно, что послѣ смерти Пушкина бумаги его попали въ 3-е отдѣленіе собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи и были оттуда возвращены въ ужасномъ видѣ В. А. Жуковскому, которому Государь Николай Павловичъ велѣлъ разобрать бумаги покойнаго поэта. Многаго недоставало; клочья «Русалки» попадались кое-гдѣ, но всей поэмы не было. Теперь, послѣ 50-ти-лѣтняго нахожденія подъ спудомъ, она появится во всей своей красѣ. Мы не можемъ назвать лица, доставившаго эту драгоцѣнность «Русскому Архиву»: предисловіе редактора подробно разскажетъ объ этомъ.

*

IV.

Письмо въ редакцію „Новаго Времени“.

(22-го января 1897 года, № 7509).

Въ «Новомъ Времени» (№ 7502) была напечатана замѣтка о найденномъ продолженіи «Русалки» Пушкина, которое вскорѣ появится на страницахъ «Русскаго Архива». Въ ожиданіи этого литературнаго событія, не излишне вспомнить объ одномъ фактѣ, имѣющемъ весьма близкое отношеніе къ данному произведенію Пушкина.

Въ предисловіи къ «Пѣснямъ Западныхъ Славянъ» (1832—1833 г.) Пушкинъ говоритъ, что большая часть этихъ пѣсенъ взята имъ изъ книги «La Guzla», изданной въ Парижѣ въ концѣ 1827 года, авторомъ которой оказался Просперъ Мериме.

Изъ «Пѣсенъ Западныхъ Славянъ» одна имѣетъ существенное отношеніе къ «Русалкѣ» Пушкина. Названіе этой пѣсни: «Янышъ-Королевичъ»:

Полюбилъ королевичъ-Янышъ
Молодую красавицу Елицу;
Любилъ онъ ее два красныя лѣта,
На третье лѣто *вздумалъ онъ жениться*
На Любусѣ, чешской королевнѣ.
Съ прежней любой идетъ онъ проститься.
Ей приноситъ съ червонцами черезъ,
Да гремучія серьги золотыя,
Да *жемчужное* тройное *ожерелье;*

Самъ ей вдѣлъ онъ серьги золотыя,
Навязалъ на шею ожерелье,
Далъ ей въ руки съ червонцами черестъ,
Въ обѣ щеки *поцѣловалъ* молча
И поѣхалъ своею дорогой.
Какъ одна осталася Елица,
Деньги на-земь она пометала,
Изъ ушей выдернула серьги,
Ожерелье на-двое *разорвала,*
А сама кинулась въ Мораву.
Тамъ на днѣ молодая Елица
Водяною царицей очнулась,
И родила маленькую дочку,
И ее нарекла Водяницей.

Эти строки не оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что онѣ послужили главнымъ мотивомъ для созданія шести сценъ «Русалки», которыя намъ пока извѣстны. Перевоплощенныя, — какъ сказалъ бы Достоевскій,—лица славянской пѣсни перенесены поэтомъ съ береговъ Моравы на берега Днѣпра. Королевичъ принялъ образъ русскаго князя; молодая Елица—дочери мельника; королевна стала русскою княгинею. Сохранивъ въ «Русалкѣ» всѣ отношенія дѣйствующихъ лицъ славянской пѣсни и даже мелкія подробности («съ червонцами черестъ», «мѣшокъ съ золотомъ», «жемчужное ожерелье»), — Пушкинъ широко развернулъ содержаніе основного мотива—созданіемъ ярко выступающихъ характеровъ и новыхъ лицъ. Изъ 23-хъ строкъ пѣсни, гдѣ многое едва намѣчено, — возродились живые образы древнихъ русскихъ людей, съ присущими имъ мыслями, страстями, радостями и страданіями.

Дальнѣйшимъ содержаніемъ пѣсни «Янышъ-Королевичъ», развивающимся послѣ появленія на свѣтѣ Водяницы, Пушкинъ воспользовался для тѣхъ сценъ «Русалки», гдѣ тоскующій Князь является на берега Днѣпра, къ которымъ его «влечетъ невѣдомая сила».

Разговоръ Водяницы съ Княземъ-отцомъ послужилъ основой для созданія разговора «Русалки» со своей дочерью. Встрѣчей съ нею Князя кончается шестая сцена «Русалки».

Въ подлинникѣ пѣсни, переложенной Пушкинымъ, есть разговоръ королевича съ Водяницей, когда онъ поручаетъ ей передать матери его «поклонъ усердный» и проситъ свиданія съ Елицею. Сценою этого свиданія оканчивается пѣсня о Янышѣ-Королевичѣ, въ переложеніи Пушкина; но въ примѣчаніи къ ней поэтъ нашъ говоритъ: «Пѣсня о Янышѣ-Королевичѣ въ подлинникѣ очень длинна и раздѣляется на нѣсколько частей. *Я перевелъ первую и то не всю*».

Воспользовался ли Пушкинъ дальнѣйшимъ содержаніемъ этой пѣсни, или отбросилъ его при обработкѣ «Русалки»? Вопросъ этотъ получитъ желательное разрѣшеніе, если происхожденіе списка найденной рукописи «Русалки» *отъ подлинной будетъ внѣ всякаго сомнѣнія.* Кромѣ того, мы получимъ возможность хотя отчасти проникнуть въ тайники творчества Пушкина. Для этого весьма важно имѣть полный и точный переводъ подлинной пѣсни о Янышѣ-Королевичѣ. (Въ сборникѣ Мериме «La Guzla» этой пѣсни не

имѣется). Сравнивая ее съ «Русалкой», можно будетъ прослѣдить развитіе всего созданія, оставленнаго намъ поэтомъ. Было бы желательно, чтобы кто-либо изъ нашихъ словенцевъ напечаталъ полный переводъ этой пѣсни.

Е. Пономаревъ.

V.

О неизданномъ окончаніи „Русалки" Пушкина.

(Письмо въ редакцію «Русскихъ Вѣдомостей», 27-го января 1897 г., № 27).

На-дняхъ я прочелъ въ «Новомъ Времени» извѣстіе о томъ, что кѣмъ-то разыскано окончаніе «Русалки» Пушкина и что это произведеніе великаго поэта будетъ въ скоромъ времени напечатано въ «Русскомъ Архивѣ», издаваемомъ г. Бартеневымъ. Заинтересованный такимъ сообщеніемъ и помня недавнее такое же газетное извѣстіе о томъ, будто въ Калугѣ найдена и пріобрѣтена однимъ издателемъ ежемѣсячнаго изданія доселѣ неизвѣстная рукопись Гоголя, я отправился къ одному старому писателю, страстному поклоннику Пушкина, разсчитывая подѣлиться съ нимъ новостью и спросить о ней его мнѣніе. Оказалось, что ему уже извѣстна эта

новость. Выслушавши меня, старикъ улыбнулся, выдвинулъ ящикъ своего письменнаго стола, порылся въ немъ и подалъ мнѣ два сшитыхъ вмѣстѣ листа бумаги. Въ заголовкѣ было написано: «Русалка. Пушкина, окончаніе».

— Такихъ списковъ, — заговорилъ онъ, — насколько мнѣ извѣстно, существуетъ три: одинъ у васъ въ рукахъ, два другихъ находятся у лицъ, мнѣ извѣстныхъ. Легенда о происхожденіи этихъ списковъ такова. Въ ноябрѣ 1836 г. Пушкинъ читалъ заключительныя сцены «Русалки» у поэта Губера. Въ числѣ слушателей былъ одинъ молодой человѣкъ, нѣкто З., обладавшій необычайною памятью. Вернувшись домой, онъ записалъ слышанное и очень долго хранилъ рукопись въ секретѣ. По прошествіи многихъ лѣтъ онъ читалъ ее въ Петербургѣ нѣсколькимъ извѣстнымъ литераторамъ и поэтамъ. Тѣ отнеслись недовѣрчиво къ чудеснымъ образомъ сохранившемуся произведенію и усомнились въ его подлинности. Обиженный ихъ недовѣріемъ, собственникъ рѣшилъ ее не опубликовывать и лишь въ не очень давнее время дозволилъ одному близкому человѣку списать ее.

— Я, лично, — продолжалъ мой хозяинъ, — не могу признать то, что вы держите въ рукахъ, подлиннымъ произведеніемъ Пушкина, хотя не имѣю достаточныхъ основаній относиться съ недовѣріемъ къ г. З., весьма почтенному человѣку, нынѣ уже маститому старику...

— Позвольте, однако, — возразилъ я, — изъ двухъ одно: или это Пушкинское, или это апокрифъ, поддѣлка.

— Думаю, что не совсѣмъ то и не совсѣмъ другое. Я такъ полагаю, что у Губера Пушкинъ читалъ какіе-нибудь отрывки, черновые наброски предполагаемыхъ сценъ, которыми онъ хотѣлъ закончить «Русалку». Слышавшій чтеніе молодой человѣкъ слишкомъ положился на свою память, кое-что записалъ, быть можетъ точно, а кое-что позабылъ и невольно исказилъ. Получилось ни то, ни сё...

Я попросилъ позволеніе прочесть рукопись и могу сообщить о ней слѣдующее.

Въ рукописи четыре сцены — VI, VII, VIII и IX-я. «Русалка» Пушкина обрывается на фразѣ Князя: «Откуда ты, прелестное дитя?» Въ рукописи Русалочка, появившаяся изъ рѣки, отвѣчаетъ:

«Откуда?.. Матушка послала. Знаешь,
Что въ теремѣ прозрачномъ въ глубинѣ
Днѣпра-рѣки царицею русалокъ,
Все о тебѣ кручиняся, живетъ
Съ минуты той, какъ ты ее покинулъ».

Русалочка говоритъ о любви матери къ Князю, проситъ приласкать, поцѣловать ее, малютку... Князь говоритъ:

«Дочь, Боже, дочь русалка! Иль схожу
И я съ ума, какъ старый бѣдный мельникъ!»

Появляется Мельникъ:

«Я здѣсь. Что надобно?.. А, зять, здорово!..»
...«У ворона,—я воронъ,—клювъ остеръ
И когти есть, онъ защитить сумѣетъ,
Онъ крыльями могучими собьетъ
И острыми когтями сердце вырветъ,
И очи выклюетъ, княжескія очи!
И дочери на дно рѣки пошлетъ
Подарочекъ,—пусть тѣшится подаркомъ!»

Русалка кричитъ:

«*Мама! Мама!* злой дѣдка обижаетъ!
Скорѣе, мама, помоги...»

Появляется дочь Мельника — Русалка, прогоняетъ старика, говоритъ Князю о былой любви, о поцѣлуѣ, «истомномъ, сладкомъ», и скрывается съ ребенкомъ подъ водой. Князь бросается за ними слѣдомъ въ Днѣпръ.

Сцена VIII: на берегу поетъ хоръ русалокъ, которыя скрываются отъ приближающихся охотниковъ, посланныхъ Княгинею разыскивать Князя. Охотники толкуютъ о томъ, что Князь «слюбился» съ дочерью Мельника, что она съ горя и со стыда утопилась, а Мельникъ сошелъ съ ума... Любимецъ Князя возражаетъ:

«Сказки! Непраздною... погибла... важность!
По твоему, что-жъ?—цѣлый вѣкъ любиться
Съ немилою голубкой долженъ князь?..

Русалка появляется изъ воды, отдаетъ охотникамъ кольцо Князя, которое тотъ посылаетъ

женѣ съ тѣмъ, что «вольна Княгиня тѣмъ кольцомъ съ другимъ вѣнчаться»...

Девятая сцена — въ свѣтлицѣ Княгини. Княгиня разсказываетъ Мамкѣ сонъ, предвѣщающій несчастье... Къ сожалѣнію, не могу передать его цѣликомъ, не полагаюсь на свою память и боюсь исказить его еще больше, чѣмъ это сдѣлано въ прочитанной мною рукописи. Является охотникъ и отдаетъ Княгинѣ кольцо, говоря:

«Князь повелѣлъ отдать тебѣ, княгиня».

КНЯГИНЯ.

«Кольцо!.. кольцо!.. ахъ, сердце!»

(Падаетъ на руки мамки).

МАМКА.

«Умерла!
Въ сонмъ ангеловъ прими ее, Всевышній!»

Конецъ. Я не имѣю ни малѣйшаго понятія о лицѣ, записавшемъ и сохранившемъ эти сцены; не знаю также, объ этомъ ли именно спискѣ идетъ рѣчь въ приведенномъ выше сообщеніи «Новаго Времени»; но, сказать по правдѣ, былъ бы очень удивленъ, если бы именно это,—можетъ быть, отчасти и Пушкинское, но, повидимому, до крайности искаженное, — произведеніе появилось въ печати въ качествѣ подлиннаго произведенія нашего великаго поэта.

Л — нъ.

*

VI.

О приготовляющемся къ изданію окончаніи поэмы „Русалка“ Пушкина.

(Письмо въ редакцію «Русскихъ Вѣдомостей», 29-го января 1897 г., № 29).

Въ № 27-мъ «Русскихъ Вѣдомостей» напечатано письмо о приготовляющемся къ изданію окончаніи поэмы «Русалка» Пушкина. Въ немъ выражено мнѣніе, что если даже этотъ конецъ былъ нѣкогда записанъ послѣ чтенія самого Пушкина, то во всякомъ случаѣ въ настоящее время онъ является въ крайне искаженномъ видѣ. Такъ какъ это произведеніе было передано въ «Русскій Архивъ» черезъ мое посредство, то я считаю долгомъ объяснить, на какомъ основаніи я счелъ возможнымъ испросить у почтеннаго Д. П. Зуева, сохранившаго въ памяти этотъ отрывокъ, разрѣшеніе на его напечатаніе.

Мнѣ давно была извѣстна изумительная память Д. П. Зуева. Услыхавъ, что онъ помнитъ конецъ «Русалки», слышанный имъ когда-то отъ самого Пушкина, я просилъ его написать его и прислать мнѣ эту рукопись, что онъ весьма обязательно сдѣлалъ. Прочитавъ эти стихи и сравнивъ ихъ съ началомъ «Русалки», я убѣдился, что авторомъ ихъ не могъ быть никто иной какъ Пушкинъ. Нѣсколько разъ я читалъ вслухъ всю «Русалку», отъ начала до конца, и ни я, ни слушатели, одаренные поэтическимъ вкусомъ, не

могли замѣтить никакой разницы между подлиннымъ началомъ и записаннымъ на память концомъ. Въ послѣднемъ мѣстами встрѣчаются нѣкоторыя шероховатости, пожалуй и неправильности, которыя могли произойти отъ того, что память не совсѣмъ точно передала слышанные стихи. Кто же можетъ за это поручиться? Шероховатости и неправильности могли быть у самого Пушкина, такъ какъ поэма не была еще совершенно отдѣлана, а запомнившій, вѣрно или невѣрно, не счелъ себя въ правѣ ихъ сглаживать. Это скорѣе можетъ служить доказательствомъ въ пользу подлинности отрывка. Во всякомъ случаѣ, неизбѣжныя при такихъ условіяхъ частныя погрѣшности не уменьшаютъ красоты цѣлаго, которое достойно завершаетъ одно изъ лучшихъ произведеній нашего великаго поэта. Кто близко знакомъ съ поэзіей Пушкина, тотъ знаетъ, что его стиху нельзя подражать и еще менѣе можно подъ него поддѣлываться. Для этого надобно обладать такимъ же поэтическимъ даромъ, какъ онъ. Не довѣряя собственному сужденію, я прочелъ этотъ конецъ такимъ тонкимъ цѣнителямъ поэтическаго творчества, какъ Александръ Владиміровичъ Станкевичъ и Ѳедоръ Евгеніевичъ Коршъ, и оба пришли къ убѣжденію, что это подлинное созданіе Пушкина. Издатель «Русскаго Архива» слышалъ уже объ этомъ отрывкѣ, и когда я ему сообщилъ рукопись, онъ пришелъ въ восторгъ и просилъ разрѣшенія его напечатать, на что Д. П. Зуевъ далъ свое со-

гласіе. Когда этотъ конецъ появится вмѣстѣ съ первою половиною «Русалки», читателямъ дана будетъ возможность судить о достоинствахъ этого произведенія. Документальнаго доказательства подлинности его, конечно, нельзя представить. Тутъ все рѣшается внутреннимъ поэтическимъ чувствомъ, а въ этомъ отношеніи даже между любителями и цѣнителями искусства бываютъ самыя противоположныя сужденія. Въ настоящее время менѣе, нежели когда-либо, есть для этого какія-либо общепризнанныя правила. То, что̀ одни считаютъ великимъ произведеніемъ искусства, то другіе ставятъ ниже всякой критики. Шекспиръ и Рафаэль отвергаются даже весьма высоко стоящими художниками. Къ тому же критиковать гораздо легче, нежели чувствовать положительную красоту произведеній. Не сомнѣваюсь, поэтому, что и объ окончаніи «Русалки» среди русской публики будутъ высказываться самыя разнородныя сужденія. Но не сомнѣваюсь и въ томъ, что многимъ цѣнителямъ поэзіи она доставитъ истинное наслажденіе.

Б. Чичеринъ.

VII.

Сдѣлавъ выписку изъ письма г. Чичерина, «Москов. Вѣд.» (№ 31, 1897 г.) замѣтили: «Изъ объясненій автора письма видно, что главною основой его убѣжденія въ подлинности поэмы является изумительная память Д. П. Зуева... Субъективное впечатлѣніе (гг. Чичерина, Стан-

кевича и Корша) скоро будетъ провѣрено массою читателей. Но во всякомъ случаѣ желательно было бы имѣть болѣе объективныя данныя».

VIII.

Письмо въ редакцію „Русскихъ Вѣдомостей“.

(30-го января 1897 г., № 30).

Два раза въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» сообщалось о рукописяхъ Пушкина (о рукописи «Русалки» и закончаніи матеріаловъ I тома, собранныхъ Л. Н. Майковымъ). Всякій, задержавшійся въ Парижѣ, обыкновенно бываетъ и у г. Онѣгина, къ которому перешли рукописи Пушкина отъ П. В. Жуковскаго. Строфы изъ «Евгенія Онѣгина» и пр. онъ напечаталъ въ «Русской Мысли» и «Вѣстникѣ Европы». Не знаю, справедливо ли, но г. Онѣгинъ горько жалуется, что обойденъ Академіей и рукописи его оставлены безъ вниманія. У него много и другихъ сокровищъ литературы. *И это національное сокровище ютится въ частной квартирѣ частнаго человѣка.*

О. N.

IX.

Окончаніе „Русалки“ г. Зуева.

Въ мартовской книжкѣ «Русскаго Архива» появилось, наконецъ, это «окончаніе» «Русалки» вмѣстѣ съ Пушкинскимъ текстомъ этой не-

оконченной драмы, и потомъ отдѣльной брошюрой подъ двумя заглавіями: 1) на оберткѣ: «*Русалка, драмма* (?) *А. С. Пушкина, съ окончаніемъ по современной записи Д. П. Зуева. Изданіе* «*Русскаго Архива*». *М. 1897*. 2) На слѣдующей страницѣ: «*Русалка А. С. Пушкина. Полное изданіе. По современной записи Д. П. Зуева*».

1. Предисловіе г. Бартенева.

Передъ текстомъ драмы напечатано *предисловіе* г. Бартенева, подписанное заглавными буквами его имени и фамиліи:

«Русалка» начата Пушкинымъ въ 1828—1829 годахъ, а первую сцену ея онъ написалъ 12-го апрѣля 1832 г., какъ видно по черновымъ его рукописямъ. По кончинѣ Пушкина «Русалка» найдена въ его бумагахъ недоконченною и напечатана въ первый разъ въ «Современникѣ» 1837 года. Тутъ и во всѣхъ собраніяхъ сочиненій Пушкина всего пять сценъ и 17 стиховъ шестой сцены.

Окончаніе этой шестой сцены и еще три сцены, довершающія чудесную драму, считались вовсе не написанными, либо утраченными, какъ и нѣкоторыя другія произведенія Пушкина, о которыхъ остались только отмѣтки въ его бумагахъ или въ воспоминаніяхъ его пріятелей.

Къ числу сихъ послѣднихъ принадлежалъ Эдуардъ Ивановичъ Губеръ (р. 1814, ум. 1847),

переводчикъ Гетева Фауста. Пушкинъ любилъ его начинавшее проявляться дарованіе и въ ноябрѣ 1836 года читалъ у него свою «Русалку» вполнѣ. На этомъ чтеніи присутствовалъ Дмитрій Павловичъ Зуевъ, нынѣ маститый старецъ, въ то время еще отрокъ, преисполненный поклоненіемъ генію великаго поэта, твореніями котораго и доселѣ услаждаются дни его. Д. П. Зуевъ одаренъ чудесною памятью, которая въ молодыя лѣта его отпечатлѣвала въ себѣ цѣлыя страницы прослушаннаго или прочитаннаго. По возвращеніи отъ Губера онъ записалъ для себя послѣднія сцены «Русалки», наиболѣе поразившія его и навсегда врѣзавшіяся въ его воспоминаніе. Онѣ были дважды прочитаны великимъ поэтомъ, по неотступной просьбѣ 14-лѣтняго юноши, поддержанной Э. И. Губеромъ. Зуевъ помнитъ также, что А. С. Пушкинъ признавалъ хоръ русалокъ «Туманной росою окрестность полна», «Разговоръ охотниковъ въ лѣсу» и въ особенности «Сонъ Княгини» лучшими мѣстами своей драмы.

Д. П. Зуевъ сообщилъ свою дорогую запись, хранившуюся у него слишкомъ полвѣка, Борису Николаевичу Чичерину, который любезно передалъ ее, съ согласія Д. П. Зуева, въ «РусскійАрхивъ».

Быть можетъ, сцены эти представляютъ лишь геніальный набросокъ того, что вышло бы у поэта при окончательной отдѣлкѣ... Но бываетъ, что картина, набросанная сразу великимъ художникомъ и поражающая своею жизненностью,

вѣрностью и тономъ колорита, ослабѣваетъ при заключительной отдѣлкѣ подробностей.

Для полноты перепечатываемъ и то, что до сихъ поръ было извѣстно изъ «Русалки».

П. Б.

2. „Запись“ г. Зуева [1]).

СЦЕНА ШЕСТАЯ.

Берегъ.

КНЯЗЬ.

Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ
Меня влечетъ невѣдомая сила!..
Все здѣсь напоминаетъ мнѣ былое
И вольной, красной юности моей
Любимую, хоть горестную, повѣсть.
Здѣсь нѣкогда меня встрѣчала
Свободнаго свободная любовь.
Я счастливъ былъ. Безумецъ!.. И я могъ
Такъ вѣтрено отъ счастья отказаться!..
Печальныя, печальныя мечты
Вчерашняя мнѣ встрѣча оживила.

1) Пропускаю «Русалку» Пушкина, такъ какъ она всѣмъ извѣстна, и перепечатываю изъ «Русскаго Архива» только поддѣлку г. Зуева, вмѣстѣ съ 16-ю стихами Пушкина, открывающими 6-ю сцену. Курсивомъ я помѣчаю всѣ тѣ стихи и слова, о которыхъ говорили критики, разбиравшіе эту мнимую «запись» и осуждавшіе ихъ въ томъ или другомъ отношеніи. *А. С—нъ.*

Отецъ несчастный! Какъ ужасенъ онъ!
Авось опять его сегодня встрѣчу,
И согласится онъ оставить лѣсъ
И къ намъ переселиться...

(Русалочка выходитъ на берегъ).

Что я вижу!
Откуда ты, прелестное дитя?[1])

РУСАЛОЧКА.

Откуда?.. Матушка послала. Знаешь,
Что въ теремѣ прозрачномъ, въ глубинѣ
Днѣпра рѣки, царицею русалокъ,
Все о тебѣ кручиняся, живетъ
Съ минуты той, какъ ты ее покинулъ.

КНЯЗЬ.

Дитя!...

РУСАЛОЧКА.

Постой, не то я позабуду,
Чтò велѣно тебѣ *пересказать,*

[1]) Стихи г. Зуева помѣчены отъ 1 до 228. Въ изданіи «Русскаго Архива» нумерація стиховъ идетъ по каждой сценѣ въ отдѣльности и въ сценѣ *шестой,* съ которой начинается «запись», 16 стиховъ Пушкина вошли въ общую нумерацію этой сцены. «Что я вижу!» г. Бартеневъ счелъ за отдѣльный стихъ и вмѣсто 16 у Пушкина онъ насчиталъ 17 стиховъ. Такъ какъ и въ «записи» онъ продолжалъ считать полустихи въ смежныхъ репликахъ за отдѣльные стихи, то и вышло у него въ «записи» 237 стиховъ.
А. С—нъ.

*

Напомнить: какъ она тебя любила...
Какъ обманулъ... какъ дѣдушка во всемъ
Мирволилъ вамъ... Какъ ночкою сидѣли
Забывшися, до *позднихъ* пѣтуховъ,
За мельницей... Еще про дубъ *какой-то,*
Гдѣ въ первый разъ ее ты *приласкалъ...*
Еще... Еще? Запомнить не сумѣла...
Не гнѣвайся! Прости, что позабыла,
И поцѣлуй! Тебя поцѣловать
И приласкать она меня просила.
Пойдемъ же къ ней въ *нашъ теремъ водъ прозрачныхъ.*

КНЯЗЬ.

Но кто же ты?

РУСАЛОЧКА.

Не знаешь?... Дочь твоя,
Русалочка. Припомни, говорила
Прощаясь мать: «Нельзя чтобы на вѣкъ
«Разстались вы; что шутку шутишь; что
«Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся»...
— *Ахъ, въ кустикъ тамъ птенчикъ встрепенулся!..*
— Но кинулъ ты, уѣхалъ, и она
Въ Днѣпръ бросилась, русалкой вольной стала,
Въ Днѣпрѣ меня, малютку, родила,
Сребристою волною спеленала,
Русалочкой, княжною, назвала
И за тебя любила и ласкала.

КНЯЗЬ.

Дочь! Боже, дочь русалка! Иль схожу
И я съ ума, какъ старый, бѣдный мельникъ!

(Беретъ дочь на руки и цѣлуетъ).

МЕЛЬНИКЪ.

Я здѣсь. Что̀ надобно?... А, зять, здорово!
Зачѣмъ пришелъ?... Не ласкою-ль обманной,
Какъ дочь мою, и внучку погубить
Замыслилъ?... Прочь! Будь проклятъ!... Прочь, оставь!
Не оскверняй невинныхъ устъ ребенка
Нечистыхъ устъ твоихъ нечистой лаской.
У ворона — я воронъ — клювъ остеръ,
И когти есть; онъ защитить сумѣетъ:
Онъ крыльями могучими собьетъ
И острыми когтями сердце вырветъ;
Онъ очи выклюетъ, княжія очи!
И дочери, на дно рѣки пошлетъ
Подарочекъ. Пусть тѣшится подаркомъ!

(Бросается на князя.—Борьба).

СЦЕНА СЕДЬМАЯ.

Тѣ же и дочь Мельника.

РУСАЛОЧКА.

Мама! Мама! Злой дѣдка обижаетъ!...
Скорѣе, ма̀ма, помоги! *(Дочь мельника появляется надъ водою).*

ДОЧЬ МЕЛЬНИКА.

Уйди!
Дочь не берегъ, о внучкѣ не печалься.
Прочь съ глазъ! *Продавецъ дочери проклятый!*

МЕЛЬНИКЪ.

Дочь прокляла!... Я проклятъ... бѣдный воронъ!

(Съ крикомъ, карканьемъ убѣгаетъ въ лѣсъ).

ДОЧЬ МЕЛЬНИКА *(Царица русалокъ, про себя).*

Печаленъ онъ, и сѣдина въ кудряхъ:
Знать и ему не радостно жилося. *(Обращаясь къ князю).*
Что скажешь, князь?... *Какъ приглянулась дочь?*
Красавица, красавцемъ зачатая —
Тобой! Въ тебя рожденная лицемъ.
И я, ты помнишь ли?... была когда-то
Румяная, что̀ *утро на зарѣ;*
Уста какъ жаръ пылали, ярче звѣздъ
Блестѣли очи, *страстью зажигаясь,* —
Когда любились мы... Ахъ, страшно вспомнить!..
Румянецъ ты укралъ, покрылъ позоромъ;
Отъ слезъ угасли очи, горькихъ слезъ!...
Уста поблекли, *жаждой поцѣлуя*
Палящею, ревнивою томясь,
И день и ночь проклятья повторяя.
И день и ночь такъ долго, много лѣтъ
Ждала тебя, безумно мстить хотѣла
За твой обманъ, за свой дѣвичій стыдъ,
За ревности сердечныя страданья,
За ночи, князь, съ разлучницей моей,
За ласки страстныя ея объятій!...

Увидѣла, забыла оскорбленья,
Замолкла *месть поруганной любви...*
Простила все! Не нагляжусь!... Какъ прежде,
Любовью жаркою и страстной сердце бьеться,
И ждутъ уста *твой поцѣлуй желанный,*
Истомный, сладкій, прежній поцѣлуй!...
Но, поцѣлуй мой—смерть. Прощай, бѣги,
Будь счастливъ, князь, съ подругой *молодою,*
Меня и дочь на вѣки позабудь!...
Будь счастливъ!... *(Скрывается съ Русалочкой подъ волнами).*

КНЯЗЬ.

Нѣтъ, не разлучусь съ тобою,
Жить безъ тебя, *безъ нашего ребенка*
Не въ силахъ... Лучше смерть въ твоихъ объятьяхъ!...

(Бросается въ Днѣпръ).

СЦЕНА ВОСЬМАЯ.

Берегъ Днѣпра, близъ опушки лѣса. Свѣтаетъ. Русалки выплываютъ надъ рѣкой.

Охотники, посланные для розыска Князя. Русалочка.

ХОРЪ РУСАЛОКЪ.

Туманной росою
Окрестность полна.
Смолкъ шумъ *надъ землею,*
Не ропщетъ волна...

ОДНА РУСАЛКА.

Звѣзды меркнутъ, и блѣднѣе
Свѣтитъ *мѣсяцъ золотой*...

ДРУГАЯ РУСАЛКА.

Волны стали холоднѣе.
Ночь встрѣчается съ зарей...

ХОРЪ.

Огоньки зажглись, блуждаютъ...
Вѣтерокъ пахнулъ свѣжѣй;
Соловьи зарю встрѣчаютъ
Пѣснью страстною своей.
Предъ разсвѣтными лучами
Намъ привольнѣе играть,
Пѣну гребнемъ надъ волнами
Пылью радужной взбивать...

ОДНА РУСАЛКА.

Слушать звуки пробужденья
Здѣсь, надъ нами, тамъ — вдали...

ДРУГАЯ РУСАЛКА.

Говоръ листьевъ, птичекъ пѣнье,
Шумы разные земли.

ОДНА РУСАЛКА.

Тише, тише, за лѣсною
Чащей слышенъ звукъ роговъ...

ДРУГАЯ РУСАЛКА.

Пронесемтесь надъ рѣкою,
И, чаруя красотою,
Пѣсней страстной *огневою*
Заманимъ къ себѣ ловцовъ.

(Уплываютъ. Охотники выходятъ изъ опушки лѣса).

СТАРШІЙ ОХОТНИКЪ, *любимецъ князя.*

Княгиня вѣщимъ сердцемъ угадала,
Знать, княжую погибель: ни слѣда,
Ни голосу. Сказать, что въ воду канулъ!

ОДИНЪ ИЗЪ ОХОТНИКОВЪ.

Не говори... Не въ добрый часъ догадка.
О дочери, чай, мельника слыхалъ?
Красавица, какихъ и не бывало!
Слюбился князь, не праздною оставилъ,
Какъ подъ вѣнецъ пошелъ съ княжною...

ЛЮБИМЕЦЪ КНЯЗЯ.

... *Ну?*

ОДИНЪ ИЗЪ ОХОТНИКОВЪ.

А дѣвушка съ стыда, да съ горя, *въ воду* —
Погибла! А старикъ сошелъ съ ума,
Покинулъ мельницу и страшный ходитъ,
Какъ воронъ каркаетъ и дочь зоветъ.

ЛЮБИМЕЦЪ КНЯЗЯ.

Сказки! Непраздною... погибла... важность!
По твоему чтожъ?—цѣлый вѣкъ *любиться*
Съ *немилою* голубкой долженъ князь?...
По моему, сама *подговорилась:*
Князь молодъ и горячъ, красавецъ *безотказный*,
Богатъ и щедръ. Должна быть рада дура!
Не конюхъ, князь ее *бабенкой справилъ.*
Вотъ ты не князь, а на своемъ вѣку
Чай не съ одной *дѣвчоночкой* спознался?...
Такъ и женись на всѣхъ!?... Быль не укоръ
Для молодца; *охотой отдалася,*
Не силой взялъ. *Самъ знаешь поговорку:*
«*Насильно милъ не будешь*». И молчи,
И не болтай пустого, ты не баба!

(Изъ чащи лѣса подходятъ другіе охотники).

ОДИНЪ ИЗЪ ПРИШЕДШИХЪ.

Ну что?

ПЕРВЫЙ ОХОТНИКЪ.

Ну, ничего. Ждать свѣта надо.
Поможетъ Богъ, при солнышкѣ, найдемъ.
Гдѣ-жъ ночью отыскать... Скажи спасибо,
Что сами на лицо, не затерялись.

ОДИНЪ ИЗЪ ОХОТНИКОВЪ.

Ну вотъ скажи! Быть должно, не далече,
Послышался мнѣ княжій голосъ, съ нимъ
Какъ голосокъ ребенка, ласковый, привѣтный,
То старческій со злобой угрожалъ,
То женскій голосъ слышался неясно...

Я побѣжалъ на слухъ, но никого
Не видѣлъ. Знать, то лѣшій хороводилъ
Съ русалками. Ихъ часъ, теперь, какъ разъ
Передъ разсвѣтомъ, тѣшиться гулянкой.

ДРУГОЙ ОХОТНИКЪ.

Идти хоть на рѣку купаться; сонъ
Такъ и томитъ... *Водицей освѣжиться.*

ЛЮБИМЕЦЪ КНЯЗЯ.

И то, пойдемъ... Чу! *Съ нами Крестъ Господень!..*
Какъ страшно каркаетъ проклятый воронъ,
Не доброе пророчитъ злой вѣщунъ.

(Русалочка выходитъ на берегъ).

Къ рѣкѣ! Скорѣй къ рѣкѣ! Глядите, братцы!
Сказать, малютка вышла изъ воды
И манитъ насъ рученкою своею.
Чего робѣть! Почти что разсвѣло.
Ужели намъ ребенка *испужаться?!..*

ОХОТНИКЪ *(подбѣгаетъ къ Русалочкѣ).*

Зачѣмъ звала, малютка?

РУСАЛОЧКА.

Князь велѣлъ
Отдать кольцо вѣнчальное княгинѣ;
Сказать, что къ ней онъ болѣ не вернется,
Что въ теремѣ подводномъ будетъ жить
Съ царицею русалокъ, что *вольна*
Княгиня *тѣмъ кольцомъ* съ другимъ *вѣнчаться.*

*

Что слугамъ шлетъ прощанье *вѣковое*
И о душѣ молиться проситъ ихъ.
Но какъ молиться, я того не знаю...

ЛЮБИМЕЦЪ КНЯЗЯ.

Хватайте дѣвочку!... Ребята, тутъ
Не съ прòста!... Господи, помилуй князя!...

(Охотники бросаются на Русалочку, она расплывается волною, исчезаетъ).

ОДИНЪ ИЗЪ ОХОТНИКОВЪ.

Чтò дѣлать?... Какъ княгинѣ доложить?...
Знать, Божья воля!.. Жаль всѣмъ сердцемъ князя.

ДРУГОЙ.

Пойдемъ! Чего стоять?... Коня поищемъ,
Дорòгою поговоримъ, какъ быть.

ПЕРВЫЙ.

Сюда! Вотъ слѣдъ коня; здѣсь гдѣ нибудь
Пасется онъ, бѣды своей не чуя,
Не чуя, что его хозяинъ добрый
На вѣки загубилъ крещеный образъ!..
Чтò падаешь?.. Споткнулся? Это что?..
Трупъ мельника!.. Ну *отъ часу не легче!*
Скорѣй домой, чтобъ съ нами не стряслася
Бѣда. Скорѣй къ княгинѣ поспѣшимъ.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ.

Свѣтлица терема.

Княгиня, Мамка, Охотникъ, любимецъ Князя.

КНЯГИНЯ.

Ахъ, мамушка, мнѣ страшно!.. Вѣщій сонъ
Привидѣлся. Не даромъ сердце ноетъ...
Князь не придетъ. Погибъ онъ смертью лютой!

МАМКА.

Княгинюшка, напрасною тоской
Ты Бога не гнѣви; пошлетъ Онъ радость:
Вернется твой соколикъ дорогой,
Промыкался охотой не впервыя.

КНЯГИНЯ.

Нѣтъ, мамушка, не слышать мнѣ рѣчей
Привѣтныхъ милаго; ни ласки нѣжной,
Ни поцѣлуевъ мнѣ его не знать;
Не приголубить мнѣ, въ опочивальнѣ,
Сердечнаго на трепетной груди!...
Не даромъ вся душа тоской изныла,
Не даромъ видѣла я страшный сонъ!

МАМКА.

Христосъ съ тобой! *Спокойся*, страшенъ сонъ,
Да милостивъ Господь! Не каждый въ руку.
Ну разскажи... *Помыслимъ*, разгадаемъ...

КНЯГИНЯ.

Мнѣ снилося: я золото считала,
Низала жемчугъ, въ яхонты рядилась
Кровавые, блестящіе, больгіе...
И дѣвичій вѣнокъ *булавкой черной*
Надъ русою косою приколола...
Изъ водныхъ струй сотканною фатой
Покрылась и, *блистая красотой,*
Съ улыбкою въ храмъ Божій я вступила.
Хоръ пѣвчихъ «со святыми упокой!»
Пропѣлъ и мнѣ, и князю. Въ ноги намъ
Не аксамитъ, а зеркало, какъ ледъ
Холодное, постлали предъ налоемъ;
И свѣчи, воска бѣлаго, съ цвѣтами
И золотомъ, зажгли и дали въ руки;
Вѣнцы надѣли, кольца обмѣняли,
Три раза вкругъ налоя обвели
И пѣли: «Со святыми упокой
Рабовъ твоихъ, Владыко, *въ царствѣ свѣта!*»
Замолкли... Вмигъ въ рукахъ погасли свѣчи,
И тамъ, внизу, на зеркалѣ зажглись.
Я вижу: князь вѣнчается съ другою,
Красавицей, подводною жилицей...
Я вскрикнула!.. проснулась...

МАМКА.

Вѣщій сонъ!
Молись Христу, голубушка родная:
Онъ властенъ дать и радость и печаль.

КНЯГИНЯ.

Шумъ на крыльцѣ!.. Охотники вернулись...
Одни! Гдѣ князь?!... Смерть, чуетъ сердце
смерть!..

(Охотникъ, любимецъ князя, быстро входитъ).

ОХОТНИКЪ.

Князь повелѣлъ отдать тебѣ, княгиня.

(Подаетъ кольцо).

КНЯГИНЯ.

Кольцо?... Кольцо!!... Охъ сердце!!!

(Падаетъ на руки Мамки).

МАМКА.

Умерла!
Въ сонмъ Ангеловъ прими ее, Всевышній!

3. Послѣсловіе г. Бартенева.

За этимъ текстомъ слѣдуетъ такое *послѣсловіе* г. Бартенева:

При всемъ художественномъ совершенствѣ своемъ, «Русалка» и въ тѣхъ сценахъ ея, которыя вошли въ собранія сочиненій А. С. Пушкина, и въ окончаніи, нынѣ появляющемся благодаря счастливой памяти Д. П. Зуева, есть произведеніе посмертное, не вполнѣ приготовленное къ печати. Читатели знаютъ, напримѣръ, что первые два

стиха VI-й сцены суть повторенiе стиховъ въ сценѣ IV-й, чего Пушкинъ не допустилъ бы въ окончательной отдѣлкѣ. Замысливъ и начавъ эту драму въ 1828 и 1829 годахъ, Пушкинъ, по своему обычаю, отложилъ ее въ сторону, и только черезъ три года вновь за нее принялся. Къ этому же послѣднему времени относится его, тоже не конченный, «Янышъ-Королевичъ», похожаго съ «Русалкою» содержанiя, такъ что послѣднiе два стиха могъ бы сказать и герой «Русалки»:

Противъ солнышка луна не пригрѣетъ,
Противъ милой жена не утѣшитъ.

Оканчивалъ и отдѣлывалъ «Русалку» Пушкинъ незадолго до своей кончины. Вѣроятно, готовилъ онъ ее для своего «Современника», и вновь заманить его къ отложенной на время драмѣ могъ Жуковскiй, въ это время печатавшiй свою тоже «Русалку», т.-е. «Ундину». А. О. Смирнова, со словъ Жуковскаго, положительно говоритъ, что за нѣсколько дней до поединка Пушкинъ разсказывалъ друзьямъ о своей «Русалкѣ», виновной въ смерти отшельника (т.-е. о балладѣ), и о другой «Русалкѣ», своей лирической драмѣ; «за тѣмъ передалъ имъ конецъ драмы» [1]). Вотъ современное свидѣтельство о томъ, что драма была кончена.

[1]) См. Записки А. О. Смирновой въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» 1897 г., I, 139.

Но полной рукописи «Русалки» не оказалось потомъ въ бумагахъ Пушкина. Можетъ быть, своеручный конецъ ея и удастся найти академику Л. Н. Майкову, который для академическаго изданія сочиненій Пушкина отыскиваетъ и находитъ подлинныя его рукописи. Тогда увидимъ, насколько во всѣхъ подробностяхъ вѣрна была чудная память Д. П. Зуева. Во всякомъ случаѣ намъ кажется, что если бы Пушкинъ отдѣлывалъ и готовилъ къ печати «Русалку» въ промежутокъ времени между ноябремъ мѣсяцемъ 1836 года, когда слышалъ ее изъ устъ его Д. П. Зуевъ, и двадцатыми числами января 1837 года, то онъ удержалъ бы многое изъ нынѣ появляющихся въ свѣтъ 237 стиховъ [1]).

Самъ Пушкинъ держалъ бумаги свои въ большомъ порядкѣ. По кончинѣ его многіе пожелали получить себѣ на память о немъ его автографы. Къ Жуковскому бумаги Пушкина поступили уже послѣ того, какъ побывали въ рукахъ чиновниковъ III-го отдѣленія, которые особенно поусердствовали вслѣдствіе строгаго выговора, полученнаго графомъ Бенкендорфомъ отъ государя Николая Павловича по поводу Пушкинскаго поединка.

Затѣмъ, Пушкинскія рукописи очутились въ распоряженіи г. Тарасенка-Отрѣшкова, злоупотреблявшаго, какъ извѣстно, оказаннымъ ему

[1]) Г. Бартеневъ считалъ неправильно. Всего 228 стиховъ.
А. С—нъ.

довѣріемъ. Наконецъ, немало рукописей этихъ ушло въ Парижъ къ г. Онѣгину... [1]).

Не мудрено, стало быть, что полная «Русалка» затерялась, и только теперь, черезъ столько лѣтъ по кончинѣ великаго творца ея, появляется вполнѣ на свѣтъ Божій.

Пользуемся случаемъ, чтобы привести слѣдующее мѣсто изъ дневника, веденнаго въ Москвѣ В. А. Мухановымъ, который получалъ свѣдѣнія изъ Петербурга отъ своего брата.

П. Б.

1-го февраля 1837 года Пушкинъ дрался на дуели и смертельно раненъ. Онъ получалъ долго безъименныя письма, оскорбительныя для чести его, сталъ подозрѣвать сочинителя оныхъ голландскаго посланника барона Экерна и, потерявъ терпѣніе, самъ въ свою очередь написалъ бранное письмо, но только подписавъ оное, къ низкому голландцу. Посланникъ послалъ за Д'Антесомъ, не за долго до того имъ усыновленнымъ вслѣдствіе 500 т. рублей, полученныхъ старымъ Экерномъ отъ голландскаго короля, и объявилъ ему, чтобы онъ кончилъ это. Д'Антесъ въ отвѣтъ вынулъ изъ кармана вызовъ Пушкина.

[1]) У г. Онѣгина, въ Парижѣ, сколько мнѣ извѣстно, немного рукописей Пушкина, оставшихся ненапечатанными. Между ними «Графъ Нулинъ» съ значительными варіантами противъ напечатаннаго. Очень замѣчательны пять писемъ В. А. Жуковскаго къ Пушкину, писанныхъ во время переговоровъ о послѣдней дуэли Пушкина. Объ этихъ письмахъ никогда не было ни слова въ печати, но для исторіи дуэли они—необходимый матеріалъ. *А. С—нъ.*

2-го февраля. Khomiakoff pense avec raison que Pouchkine était las de la vie, et qu'il a saisi la première occasion pour s'en défaire, un libelle n'étant pas, selon lui, une offense pour laquelle on se bat. La froideur de la Russie pour le poëte [1]), l'état de gêne où il se trouvait pour la fortune, ses démêlées avec le ministre [2]), amenèrent la malheureuse catastrophe [3]).

X.

Печать о записи г. Зуева.

Когда «Русскій Архивъ» съ «записью» г. Зуева явился въ свѣтъ, газеты тотчасъ же обратили вниманіе на это мнимое «окончаніе» Пушкинской «Русалки». Пересказавъ «предисловіе» и «послѣсловіе» г. Бартенева, я сказалъ въ «Новомъ Времени» (№ 7536, отъ 18-го февраля), въ отдѣлѣ «Среди газетъ и журналовъ», слѣдующее:

[1]) «Современникъ» Пушкина не имѣлъ и *двухъ сотъ* подписчиковъ. *П. Б.*

[2]) Графомъ С. С. Уваровымъ. *П. Б.*

[3]) «Хомяковъ справедливо думаетъ, что Пушкинъ усталъ жить и воспользовался первымъ случаемъ прекратить свое существованіе, такъ какъ, по мнѣнію Хомякова, полученіе пасквильнаго письма не есть такая обида, изъ-за которой дерутся на смерть. Несчастная катастрофа произошла вслѣдствіе равнодушія Россіи къ поэту, его стѣсненныхъ денежныхъ обстоятельствъ и ссоры съ министромъ».

«Что касается самыхъ стиховъ, будто бы удержанныхъ въ памяти г. Зуевымъ, то они, по нашему мнѣнію, не заслуживаютъ никакого вниманія и читать ихъ рядомъ съ Пушкинскими стихами прямо обидно. Между этими новыми стихами столько прозаическихъ, вымученныхъ, плохихъ, совершенно безграмотныхъ стиховъ, что удивляешься, какъ могъ П. И. Бартеневъ серьезно отнестись къ этому мнимому «окончанію». Есть даже такіе стихи, гдѣ размѣръ несоблюденъ. Нѣтъ, Пушкинъ не могъ писать такихъ стиховъ, даже въ видѣ наброска».

Въ газетѣ «Народъ» были напечатаны слѣдующія замѣчанія:

«Почему онъ (г. Зуевъ) записалъ именно послѣднія сцены? Именно тѣ, которыя утрачены? Конечно, можно предполагать, что послѣдніе прослушанные стихи могли скорѣе удержаться въ памяти, чѣмъ тѣ, которыми началось чтеніе, но г. Бартеневъ сдѣлалъ большой промахъ, не указавъ, съ какихъ именно словъ ведена запись юнаго Зуева. Если эта запись начинается стихами, которые сохранились и въ автографѣ Пушкина, то это есть доказательство въ пользу подлинности найденнаго окончанія «Русалки». Если же, наоборотъ, запись начинается именно съ тѣхъ словъ, на которыхъ обрывается рукопись Пушкина, то это можетъ лишь подрывать довѣріе къ подлинности новаго отрывка».

На эти замѣчанія я отвѣчалъ въ № 7538, отъ 20-го февраля, такъ:

«Да если бы запись даже и начиналась со стиховъ, находящихся въ автографѣ Пушкина, это ровно ничего не говорило бы въ пользу г. Зуева. Только люди, совершенно равнодушные къ поэзіи вообще и къ Пушкину въ особенности, могутъ жалкую поддѣлку, жалкую по замыслу, по языку, по стихамъ, считать чѣмъ-то серьезнымъ».

«Новости» нашли, что обнародованное окончаніе «Русалки» сильно напоминаетъ либретто оперы Даргомыжскаго.

«Биржевыя Вѣдомости» тоже не вѣрятъ, чтобъ эти неуклюжіе стихи могли принадлежать Пушкину.

«Одесскія Новости», перепечатывая отзывы столичныхъ газетъ, спрашиваютъ: «Что же это такое, въ самомъ дѣлѣ: мистификація?!»

Сколько мнѣ извѣстно, ни одна газета не признала «запись» Пушкинскимъ произведеніемъ.

XI.

По поводу заключительныхъ сценъ Пушкинской „Русалки“.

(«Южный Край», 20-го и 22-го февраля 1897 г., № 5541 и 5542).

I.

Прежде чѣмъ высказать свое мнѣніе о значеніи рукописи г. Зуева, обнародованной «Русскимъ Архивомъ», напомнимъ исторію «Русалки».

Эта драма была начата Пушкинымъ въ 1828 году и писалась отдѣльными набросками до 1832 года. По крайней мѣрѣ, первыя сцены пьесы находятся въ черновыхъ тетрадяхъ 1828 и 1829 годовъ, а въ чистовой рукописи, состоящей изъ 24 страницъ, есть даты 1832 года. «Русалка» появилась въ печати послѣ смерти Пушкина, въ шестомъ томѣ «Современника» за 1837 годъ. Въ бумагахъ Пушкина сохранился сжатый планъ драмы: «Мельникъ и его дочь. Свадьба. Княгиня и мамка. Русалки. Князь, старикъ и русалочка. Охотники».

По общепринятому мнѣнію, Пушкинъ заимствовалъ мысль «Русалки» изъ преданія о королевичѣ Янышѣ, которому поэтъ посвятилъ въ 1833 году особое стихотвореніе въ «Пѣсняхъ Западныхъ Славянъ»:

Полюбилъ королевичъ Янышъ
Молодую красавицу Елицу;
Любилъ онъ ее два красныя лѣта,
Въ третье лѣто вздумалъ онъ жениться
На Любусѣ, чешской королевнѣ.
Съ прежней любой идетъ онъ проститься.
Ей приноситъ съ червонцами чересъ,
Да гремучія серьги золотыя,
Да жемчужное тройное ожерелье;
Самъ ей вдѣлъ онъ серьги золотыя,
Навязалъ на шею ожерелье,
Далъ ей въ руки съ червонцами чересъ,
Въ обѣ щеки поцѣловалъ молча,
И поѣхалъ своею дорогой.
Такъ одна осталася Елица,
Деньги на земь она пометала,
Изъ ушей выдернула серьги,

Ожерелье на-двое разорвала,
А сама кинулась въ Мораву.
Тамъ на днѣ молодая Елица
Водяною царицей очнулась,
И родила маленькую дочку,
И ее нарекла Водяницей.

Вотъ проходитъ три года и болѣ,
Королевичъ ѣздитъ на охотѣ,
Ѣздитъ онъ по берегу Моравы;
Захотѣлъ онъ коня вороного
Напоить студеною водою.
Но лишь только запѣненную морду
Сунулъ конь въ студеную воду,
Изъ воды вдругъ высунулась ручка:
Хвать коня за узду золотую!
Конь отдернулъ голову въ испугѣ, —
На уздѣ виситъ Водяница,
Какъ на удѣ пойманная рыбка.
Конь кружится по чистому лугу,
Потрясая уздой золотою,
Но стряхнуть Водяницы не можетъ.
Чуть въ сѣдлѣ усидѣлъ королевичъ,
Чуть сдержалъ коня вороного,
Осадивъ могучею рукою.
На траву Водяница прыгнула.
Говоритъ ей Янышъ-королевичъ:
«Разскажи, какое ты творенье:
Женщина-ль тебя породила,
Иль Богомъ проклятая Вила?»
Отвѣчаетъ ему Водяница:
«Родила меня молодая Елица,
Мой отецъ—Янышъ-королевичъ,
А зовутъ меня Водяницей».
Королевичъ при такомъ отвѣтѣ
Соскочилъ съ коня вороного,
Обнялъ дочь свою Водяницу,
И, слезами заливаясь, молвилъ:
«Гдѣ, скажи, твоя мать—Елица?

Я слыхалъ, что она потонула».
Отвѣчаетъ ему Водяница:
«Мать моя—царица водяная;
Она властвуетъ надъ всѣми рѣками,
Надъ рѣками и надъ озерами;
Лишь не властвуетъ она синимъ моремъ:
Синимъ моремъ властвуетъ Дивъ-Рыба».
Водяницѣ молвилъ королевичъ:
«Такъ иди же къ водяной царицѣ
И скажи ей: Янышъ-королевичъ
Ей поклонъ усердный посылаетъ,
И у ней свиданія проситъ
На зеленомъ берегу Моравы.
Завтра я заѣду за отвѣтомъ».
Они послѣ того разстались.

Рано утромъ, чуть заря зардѣлась,
Королевичъ надъ рѣкою ходитъ;
Вдругъ изъ рѣчки, по бѣлыя груди,
Поднялась царица водяная
И сказала: «Янышъ-королевичъ!
У меня свиданія просилъ ты:
Говори, чего еще ты хочешь?»
Какъ увидѣлъ онъ свою Елицу,
Разгорѣлись снова въ немъ желанья,
Сталъ манить ее къ себѣ на берегъ.
«Люба ты моя, млада Елица,
Выйдь ко мнѣ на зеленый берегъ,
Поцѣлуй меня по прежнему сладко,
По прежнему полюблю тебя крѣпко».
Королевичу Елица не внимаетъ,
Не внимаетъ, головою киваетъ:
«Нѣтъ, не выйду, Янышъ-королевичъ,
Я къ тебѣ на зеленый берегъ.
Слаще прежняго намъ не цѣловаться,
Крѣпче прежняго меня не полюбишь.
Разскажи-ка мнѣ лучше хорошенько,
Каково, счастливо-ль поживаешь

Съ новой любой, съ молодой женою?»
Отвѣчаетъ Янышъ-королевичъ:
«Противъ солнышка луна не пригрѣетъ,
Противъ милой жена не утѣшитъ».

Въ примѣчаніи къ пѣснѣ о Янышѣ-Королевичѣ Пушкинъ говоритъ: «Пѣсня о Янышѣ-Королевичѣ въ подлинникѣ очень длинна и раздѣляется на нѣсколько частей. Я перевелъ первую, и то не всю».

Откуда взялъ Пушкинъ легенду о Янышѣ-Королевичѣ, — неизвѣстно. Неизвѣстно также, зналъ ли онъ ее, когда началъ писать «Русалку».

II.

Можно ли считать рукопись г-на Зуева за подлинное окончаніе «Русалки»,—за такое окончаніе, которое цѣликомъ принадлежитъ Пушкину, вполнѣ удовлетворяло его и было-бы имъ напечатано, еслибъ онъ не погибъ на дуэли въ 1837 году?

На всѣ эти вопросы можно отвѣчать только отрицательно.

Мы, разумѣется, далеки отъ мысли заподозрѣвать г-на Зуева въ подлогѣ; мы ни мало не сомнѣваемся, что дѣло происходило именно такъ, какъ онъ разсказываетъ; но когда рѣчь идетъ о такомъ важномъ предметѣ, какъ текстъ одного изъ геніальнѣйшихъ произведеній Пушкина,

тогда всѣ обиняки должны быть оставлены въ сторонѣ, и соображенія щепетильности отходятъ на послѣдній планъ. Кто такой г. Зуевъ, намъ неизвѣстно. Редакціи «Русскаго Архива» слѣдуетъ разъяснить это со всею тщательностью, ибо полное довѣріе можетъ быть оказано лишь такому лицу, которое мы знаемъ и хорошо знаемъ. Гдѣ же доказательства, что г-нъ Зуевъ отличался такою феноменальною памятью, что могъ удерживать въ головѣ по четыреста стиховъ, которые были имъ прочитаны всего два раза. Гдѣ доказательства, что г. Зуевъ уже четырнадцати лѣтъ отъ роду былъ настолько литературно образованъ, что давалъ себѣ ясный отчетъ въ важности каждаго слова Пушкина, каждой строки, выходившей изъ-подъ его пера? Самъ собой является цѣлый рядъ и другихъ вопросовъ. Почему г. Зуевъ такъ долго держалъ свою рукопись подъ спудомъ? Почему онъ болѣе шестидесяти лѣтъ молчалъ объ извѣстной ему развязкѣ «Русалки»? Это тѣмъ болѣе странно, что г. Зуевъ, судя по всему, принадлежитъ къ почитателямъ Пушкина. Онъ не могъ не знать, сколько недоразумѣній возбуждаетъ финалъ «Русалки». Почему г. Зуевъ не подалъ голоса въ печати еще въ то время, когда Даргомыжскій сдѣлалъ въ своей оперѣ первую попытку угадать, хотя въ общихъ чертахъ, окончаніе Пушкинской драмы? Редакціи «Русскаго Архива» слѣдовало бы заручиться у г. Зуева надлежащими справками во избѣжаніе всякихъ недоразумѣній. Къ сожалѣнію, она этого не сдѣлала.

Обращаясь къ рукописи г. Зуева, прежде всего нельзя не отмѣтить въ ней нѣсколькихъ стиховъ, которые ужъ никоимъ образомъ не могли принадлежать Пушкину. Остановимся на этихъ стихахъ. «Русалка» написана пятистопными ямбами, а между тѣмъ седьмая сцена начинается у г. Зуева слѣдующимъ восклицаніемъ Русалочки:

Мама! мама! злой дѣдка обижаетъ!...
Скорѣе, мама, помоги!

Если читать слово *мама* съ удареніемъ на первомъ слогѣ, будетъ нарушенъ размѣръ стиха; ставить же удареніе на второмъ слогѣ, значитъ превратить русское слово мама въ какое-то странное подобіе французскаго слова: maman. Упоминать ли, что Пушкинъ не могъ писать стихи безъ размѣра и искажать чисто русскія слова на французскій ладъ?

Въ шестой сценѣ Русалочка говоритъ у Зуева Князю, передавая слова матери:

Не гнѣвайся! Прости, что позабыла,
И поцѣлуй! *Тебя поцѣловать*
И приласкать она меня просила.

Подчеркнутые стихи явно двусмысленны. Изъ нихъ нельзя понять, о чемъ просила Русалка: о томъ ли, чтобъ Русалочка приласкала и поцѣловала Князя, или о томъ, чтобы Князь приласкалъ и поцѣловалъ ее. Послѣдній стихъ девятой сцены у г-на Зуева такой:

Въ сонмъ Ангеловъ прими, ее, Всевышній.

Можно ли допустить, чтобы Пушкинъ вложилъ въ уста княгининой Мамки эту реторическую фразу, вполнѣ достойную развѣ только такихъ драматурговъ, какъ Кукольникъ, Ободовскій, Полевой и Гедіоновъ. То же самое можно сказать о словахъ княжьяго любимца:

Какъ страшно каркаетъ проклятый воронъ.
Не доброе пророчитъ злой вѣщунъ.

Эти стихи явно отзываются преданіями тѣхъ временъ, когда въ нашей литературѣ царилъ романтизмъ во вкусѣ «Свѣтланы» Жуковскаго. Мы могли бы привести еще цѣлый рядъ доказательствъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что текстъ г. Зуева нельзя отождествлять съ текстомъ Пушкинской «Русалки». Г. Зуевъ, очевидно, не удержалъ и не могъ удержать въ памяти отъ слова до слова четыре заключительныя сцены драмы и записалъ ихъ, не гоняясь за точностью. На его рукопись стоитъ смотрѣть не какъ на стенограммы того, что читалъ Пушкинъ, а какъ на вольный, хотя и стихотворный пересказъ черноваго наброска великаго поэта.

Говоримъ: *черноваго* наброска, потому что Пушкинъ ужъ никоимъ образомъ не напечаталъ бы его въ томъ видѣ, въ какомъ онъ изложенъ у г-на Зуева. Дѣлая это замѣчаніе, мы разумѣемъ не текстъ (какъ мы уже сказали— о Пушкинскомъ текстѣ судить довольно трудно по рукописи, опубликованной въ «Русскомъ Архивѣ»), а расположеніе сценъ, ихъ содержаніе,

сущность монологовъ и діалоговъ. У г. Зуева разговорамъ охотниковъ отведено слишкомъ много мѣста, а психологіи Князя и Русалки слишкомъ мало.

Трудно даже составить себѣ ясное понятіе, какая участь постигла Князя и какъ именно отомстила ему Русалка. Ужъ не слышалъ ли г. Зуевъ импровизаціи Пушкина на тему «Русалки», импровизаціи, которой поэтъ не придавалъ значенія и на которую онъ смотрѣлъ лишь какъ на попытку довершить созданіе драмы, окончаніе которой не давалось ему. Въ сценахъ, сообщенныхъ г. Зуевымъ, есть, несомнѣнно, прелестныя мѣста, но такихъ мѣстъ немного; къ нимъ слѣдуетъ отнести прежде всего монологъ Русалочки въ восьмой сценѣ и монологъ Княгини въ девятой.

Авторъ цитируетъ стихи 159—166 и 199—221 «записи».

По словамъ г. Зуева Пушкинъ былъ особенно доволенъ, между прочимъ, хоромъ русалокъ:

Туманной росою
 Окрестность полна,
Смолкъ шумъ надъ землею,
 Не ропщетъ волна...

Мы положительно не можемъ допустить, чтобы въ «Русалкѣ» Пушкина могло быть такое четырехстишіе. Восхищаться имъ, конечно, великій поэтъ не могъ. Оно очень напоминаетъ по тону и по формѣ одно изъ его раннихъ и весьма нескромныхъ стихотвореній—«Вишня»:

Румяной зарею
Покрылся востокъ,
Въ селѣ за рѣкою
Потухъ огонекъ...

Н. Ч.

XII.

Литературныя замѣтки.

(«Московскія Вѣдомости», 20-го февраля 1897 г., № 51).

Заключительныя сцены „Русалки“.

I.

. .

. .

Благодаря той же замѣчательной памяти г. Зуева, мы узнаемъ, что Пушкинъ именно въ этихъ трехъ, считавшихся утраченными, сценахъ указывалъ *лучшія* мѣста всего произведенія. Слѣдовательно, онъ находилъ ихъ, если и не совсѣмъ готовыми къ печати, то во всякомъ случаѣ требующими лишь незначительныхъ, несущественныхъ измѣненій.

Между тѣмъ въ бумагахъ великаго поэта, послѣ его кончины, седьмой, восьмой и девятой сценъ «Русалки» не оказалось, хотя аккуратность Пушкина въ храненіи рукописей не подлежитъ сомнѣнію. Сопоставляя разсказъ г. Зуева съ отсутствіемъ конца «Русалки» въ бумагахъ поэта, нельзя не признать тутъ какого-то удивительнаго недоразумѣнія.

Впрочемъ, это недоразумѣніе было бы не столь важно, еслибы дѣло ограничивалось только имъ. Но исторія съ заключительными сценами «Русалки» гораздо сложнѣе.

Находка этихъ сценъ безспорно драгоцѣнная находка. Но чѣмъ серьезнѣе причина для нашей радости, тѣмъ бо́льшая осмотрительность отъ насъ требуется.

«Русалка», въ извѣстной до настоящаго времени редакціи, обрывалась на самомъ интересномъ, съ эпизодической точки зрѣнія, мѣстѣ. Князь бродитъ вдоль «грустныхъ береговъ», куда его влечетъ неодолимая сила воспоминаній о счастливомъ прошломъ. Эта неодолимая сила,—«невѣдомая», таинственная, и читатель знаетъ ея происхожденіе. Русалка, помышляющая «уже восемь долгихъ, долгихъ лѣтъ» о мщеніи, въ эту ночь надѣется отомстить. Она высылаетъ къ Князю свою дочку, Русалочку, съ наказомъ «приласкаться» и разсказать о матери и о своемъ рожденіи.

Русалочка выходитъ на берегъ. «Откуда ты, прелестное дитя?»—спрашиваетъ ее удивленный Князь, и на этомъ поэма обрывается.

Можно сказать, что здѣсь же обрывается и живой психологическій интересъ произведенія. Возвращеніемъ Князя «къ грустнымъ берегамъ» и его тоской о прошлой любви завершается драма, составляющая всю прелесть «Русалки». Намъ не показалось бы страннымъ, еслибы поэтъ именно *здѣсь* и разстался съ героемъ своей повѣсти, какъ

разстался съ Онѣгинымъ «въ минуту злую для него». Въ смыслѣ фабулы, безсмертный романъ Пушкина нельзя назвать оконченнымъ, но въ смыслѣ заключенной въ немъ художественной идеи онъ законченъ съ поразительнымъ мастерствомъ и замѣчательнымъ чувствомъ мѣры. Относительно Онѣгина тоже, вѣроятно, существовали бы разныя предположенія и догадки, еслибы поэтъ не написалъ нѣсколькихъ заключительныхъ строфъ, гдѣ прощается съ героемъ, съ Татьяной, съ читателемъ. Въ «Русалкѣ», при драматической формѣ, такого «прощанія» быть не могло, и если Пушкинъ имѣлъ въ виду закончить драму моментомъ возвращенія Князя, то мы не споримъ, что закончить произведеніе *такъ, какъ* оно заканчивалось въ до сихъ поръ извѣстной редакціи, онъ не могъ.

Обратимся теперь къ сценамъ, воспроизведеннымъ по записи г. Зуева.

II.

Авторъ разсказываетъ содержаніе «записи» безъ коментарій, а потому выпускаемъ это мѣсто.

III.

Подобное окончаніе, въ общихъ чертахъ, само собою приходитъ каждому на мысль при чтеніи «Русалки». Въ немъ нѣтъ тѣхъ *одному Пушкину* присущихъ *особенностей*, которыми былъ запе-

чатлѣнъ расцвѣтъ его генія. Онъ писалъ «Русалку» въ продолженіе трехъ-четырехъ лѣтъ, съ 1828 (или 1829) по 1832 годъ. А это время именно совпадаетъ съ эпохой высшаго развитія его таланта. Чертами глубокой духовной зрѣлости отмѣчено все вышедшее въ эту эпоху изъ-подъ пера геніальнаго поэта.

Въ той же «Русалкѣ», въ обрисовкѣ характера Князя, мы безъ труда различаемъ замѣчательно тонкіе и типическіе штрихи. Князь не сказочный герой, подобный Руслану. Онъ такое же созданіе реальнаго міра, какъ и Мельникъ, внушающій дочери правила сомнительной житейской мудрости. Въ немъ есть кое-что родственное съ Донъ-Жуаномъ, онъ не способенъ на глубокое чувство, не задумывается сознательно обольстить и владѣетъ даромъ краснорѣчія, особенно вліяющаго на дѣвичьи сердца. Когда Князю понадобилось отдѣлаться отъ дочери Мельника, онъ загипнотизировалъ ее этимъ краснорѣчіемъ ровно настолько, чтобъ успѣть оставить въ ея рукахъ деньги и ожерелье, и ускакать раньше. чѣмъ она «повиснетъ на уздѣ его коня», «уцѣпится за полы» кафтана.

Четвертая сцена — самая содержательная въ смыслѣ окончательной дорисовки характера Князя.

Онъ приходитъ на берегъ Днѣпра, куда его влечетъ невѣдомля сила. Воспоминанія счастливой любви, полная трагизма встрѣча съ сумашедшимъ Мельникомъ,—все это должно бы усилить его настроеніе и довести овладѣвшее имъ

чувство до наивысшаго подъема. Но Князя и въ подобныхъ обстоятельствахъ не покидаетъ дешевая разсудочность — признакъ мелкой, чуждой могучимъ страстямъ натуры. Онъ философствуетъ о человѣкѣ, лишенномъ ума, сравнивая его съ мертвецомъ.

На мертвеца глядимъ мы съ уваженьемъ,
Творимъ о немъ молитвы, смерть равняетъ
Съ нимъ каждаго. Но человѣкъ, лишенный
Ума, становится не человѣкомъ:
Напрасно рѣчь ему дана—не правитъ
Словами онъ; въ немъ брата своего
Звѣрь узнаетъ; онъ людямъ въ посмѣянье;
Надъ нимъ всякъ воленъ; Богъ ему не судитъ...

Послѣ этого спокойнаго и основательнаго разсужденія, изъ-за котораго просвѣчиваютъ столь хорошо знакомыя черты Гамлета, какъ-то не вѣрится, чтобы «видъ несчастнаго старика» «растравилъ» въ Князѣ «раскаянья всѣ муки».

Седьмая (записанная г. Зуевымъ) сцена плохо вяжется съ пятою. Во-первыхъ, въ обращеніи Русалки къ Князю нѣтъ той *ясности*, которая составляетъ *отличительное* свойство творчества Пушкина. Русалка говоритъ, что она хотѣла мщенья, но «увидѣла, забыла оскорбленья, замолкла месть поруганной любви». Она предостерегаетъ Князя, что ея поцѣлуй—смерть. Но для чего говоритъ она все это? Для того чтобы вѣрнѣе заманить Князя? Или можетъ быть въ Русалкѣ пробудилось давно забытое человѣческое чувство? Ея монологъ не даетъ ключа къ раз-

рѣшенію загадки, и надо плохо знать Пушкина, чтобы считать его способнымъ примириться съ подобною неясностью.

Поведеніе Князя въ седьмой сценѣ, послѣ того какъ мы уже хорошо знакомы съ основными чертами его характера и послѣ того какъ въ великолѣпной пятой сценѣ эти черты получили окончательное выраженіе, кажется еще болѣе страннымъ. Его прыжокъ въ Днѣпръ рѣшительно ничѣмъ не мотивированъ. Князь *пятой сцены* — такъ все время и кажется читателю — послушаетъ совѣта *Русалки* бѣжать къ молодой Княгинѣ. Вѣдь Русалка и любимая пмъ дочь Мельника — совсѣмъ не одно и то же. Его ребенокъ, рожденный въ подводномъ царствѣ, также ребенокъ фантастическій и не можетъ возбуждать въ этомъ глубоко-реальномъ человѣкѣ тѣхъ чувствъ, которыми проникнуты послѣднія слова седьмой сцены:

Жить безъ тебя, *безъ нашего ребенка*
Не въ силахъ я!

Гораздо естественнѣе было бы, если бы столь разсудительный во всемъ Князь удалился отъ «грустныхъ береговъ» въ меланхолическомъ сознаніи, что «прошедшаго не воротишь» и что оставаться дольше въ обществѣ русалокъ уже не столь интересно.

IV.

Если напечатанныя теперь въ «Русскомъ Архивѣ» заключительныя сцены дѣйствительно принадлежатъ Пушкину, то можно съ увѣренностью высказать предположеніе, что онъ *отбросилъ* ихъ, какъ совершенно не удовлетворявшія его и мало подходившія къ первымъ пяти.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ отъ геніальной проницательности величайшаго поэта способно было укрыться очевидное даже для насъ, простыхъ смертныхъ? Пушкинъ несомнѣнно замѣтилъ, что столкновеніе *реальнаго* и *фантастическаго* міровъ зашло слишкомъ далеко въ его драматическомъ этюдѣ. *До* появленія Русалочки образъ Князя все болѣе и болѣе выростаетъ въ художественномъ отношеніи, пріобрѣтаетъ все болѣе яркія черты *типа*, которому недостаетъ двухъ-трехъ взмаховъ геніальной кисти, чтобы занять мѣсто на ряду съ типами Шекспира. И вдругъ, вмѣсто этихъ геніальныхъ взмаховъ,—цѣлый рядъ штриховъ, суживающихъ значеніе картины. Могъ ли примириться съ ними Пушкинъ? Конечно, нѣтъ.

И онъ не торопился обнародованіемъ «Русалки». Онъ ждалъ, когда вдохновеніе опять введетъ его въ кругъ тѣхъ образовъ, мыслей и настроеній, среди которыхъ возникла первоначальная идея поэмы.

Мы не станемъ здѣсь рѣшать, подлинные ли Пушкинскіе стихи находятся въ записи г. Зуева.

Но мы не видимъ въ стихахъ ничего такого, что *непремѣнно* должно принадлежать Пушкину и никому другому. Единственный проблескъ сильнаго таланта замѣтенъ въ монологѣ Княгини, гдѣ она говоритъ о зеркалѣ, постланномъ предъ налоемъ вмѣсто аксамита. Эти свѣчи, которыя угасаютъ въ рукахъ Княгини и Князя и зажигаются «тамъ, внизу, на зеркалѣ», прекрасный образъ, за то хоръ русалокъ, при сопоставленіи его съ хоромъ въ началѣ восьмого дѣйствія, безусловно слабъ.

Вотъ хоръ русалокъ изъ четвертой сцены:

Веселой толпой
Съ глубокаго дна
Мы ночью всплываемъ;
Насъ грѣетъ луна...

Любо намъ порой ночною
Дно морское покидать,
Любо вольной головою
Высь рѣчную разрѣзать,
Подавать другъ дружкѣ голосъ,
Воздухъ звонкій раздражать,
И зеленый, влажный волосъ
Въ немъ сушить и отряхать.

ОДНА.

Тише! Птичка подъ кустами
Встрепенулася во мглѣ.

ДРУГАЯ.

Между мѣсяцемъ и нами
Кто-то ходитъ по землѣ.

Сравните теперь эти звучные, красивые стихи, въ которыхъ что ни слово, то ясный, пластическій образъ, со слѣдующими изъ восьмой сцены:

Туманной росою
Окрестность *полна.*
Смолкъ шумъ подъ землею,
Не ропщетъ волна...

ОДНА РУСАЛКА.

Звѣзды меркнутъ и блѣднѣе
Свѣтитъ мѣсяцъ золотой...
Волны стали холоднѣе.
Ночь встрѣчается съ зарей...
и т. д.

Различіе слишкомъ очевидно. Стихи изъ восьмой сцены блѣдны, содержатъ банальные образы и заурядны въ смыслѣ мелодичности. И эти-то стихи Пушкинъ будто бы называлъ *лучшими!..*

Всѣ эти соображенія заставляютъ насъ думать, что запись произведена г. Зуевымъ *во всякомъ случаѣ* далеко не точно. Конечно, русская литература должна быть признательною г. Зуеву, сохранившему для нея, хотя бы и въ приблизительной передачѣ, нѣсколько страницъ Пушкинскихъ стиховъ. Но именно потому, что намъ вручаютъ такое драгоцѣнное наслѣдіе, мы должны быть особенно внимательны къ памяти того, кто намъ его оставилъ. Въ этомъ смыслѣ и необходимо обсудить, насколько опубликованныя «Русскимъ Архивомъ» сцены «Русалки» соотвѣтствуютъ духу всего произведенія, и можемъ ли мы

считать ихъ дословно принадлежащими Пушкину, или должны признать въ нихъ *копію,* лишь отчасти передающую красоты оригинала.

Кто присоединится къ послѣднему мнѣнію, тотъ отнюдь не умалитъ заслуги г. Зуева, тѣмъ болѣе, что и данное мнѣніе, и данная заслуга (не говоря о прекрасной памяти автора записи) имѣетъ общій источникъ: благоговѣйное отношеніе къ Пушкину и восторгъ предъ его дивнымъ геніемъ.

К. Медвѣдскій.

XIII.

Литературныя замѣтки.

(«Моск. Вѣд.», 27-го февраля 1897 г., № 57).

Еще о заключительныхъ сценахъ „Русалки“.

I.

Въ прошлой статьѣ я привелъ общія соображенія, которыя мѣшаютъ признать если не подлинность записанныхъ г. Зуевымъ послѣднихъ сценъ Пушкинской «Русалки», то во всякомъ случаѣ ихъ близость къ оригиналу. Теперь не лишне разобрать ихъ въ подробностяхъ и выяснить концепцію каждой отдѣльной сцены.

Сцена съ Русалочкой намѣчена Пушкинымъ въ пятой сценѣ. Русалочка должна приласкаться къ Князю и разсказать ему все, что̀ знаетъ отъ матери о своемъ рожденіи и о подводномъ житьѣ-бытьѣ дочери Мельника.

Намъ неизвѣстны законы психологіи русалокъ и поэтому мы не знаемъ, какъ именно могла исполнить восьмилѣтняя Русалочка порученную ей миссію. Тутъ открывается просторъ лишь для фантазіи геніальнаго поэта, обыденная же «выдумка» не въ состояніи идти далѣе банальныхъ фразъ, которыя именно и вложены въ уста Русалочки авторомъ записи.

Русалочка говоритъ Князю:

Припомни, говорила
Прощаясь мать: «Нельзя, чтобы на вѣкъ
«Разстались вы; *что шутку шутишь; что*
«Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся»...
— Ахъ, въ кустикѣ тамъ птенчикъ встрепенулся!..
— Но кинулъ ты, уѣхалъ и она
Въ Днѣпръ бросилась, русалкой вольной стала,
Въ Днѣпрѣ меня, малютку, родила,
Сребристою волною спеленала,
Русалочкой, княжною *назвала*
И за тебя любила и ласкала.

Этотъ вялый и блѣдный пересказъ того, что внушила дочери Русалка, не производитъ никакого впечатлѣнія и совершенно неумѣстенъ, чтобы не сказать неприличенъ, въ устахъ ребенка. Зачѣмъ онъ нуженъ? Что̀ сдѣлала восьмилѣтняя Русалочка такого, что оправдывало бы

порученіе, возложенное на нее матерью? Къ чему понадобился этотъ неискусный посланецъ, когда Русалка сама могла то же самое сказать Князю?

Русалочка въ этомъ мнимомъ драматическомъ этюдѣ Пушкина *не дѣйствуетъ,* а говоритъ; между тѣмъ каждая сцена подлиннаго этюда, вплоть до шестой, служитъ къ развитію *дѣйствія* и подготовляетъ развязку. Сцена съ Русалочкой *задерживаетъ* движеніе драмы, и въ ея настоящемъ видѣ является совершенно лишнею.

Стихи, которыми написанъ діалогъ Князя и Русалочки, менѣе всего похожи на Пушкинскіе. Очень курьезно намѣреніе придать словамъ Русалочки колоритъ дѣтской наивности перерывомъ нити разсказа. «Ахъ, въ кустикѣ тамъ птенчикъ встрепенулся», восклицаетъ Русалочка, отвлекаясь отъ своего повѣствованія, и это должно показать читателю, какое еще она дитя. Но желаемаго эфекта не получается. Читатель просто останавливается въ недоумѣніи надъ неожиданно появившеюся фразой и не сразу догадывается, что тутъ не явная безсмыслица, а «психологическая тонкость». И все-таки ему рѣжетъ ухо это нелѣпое *тамъ,* это *лишнее слово,* несвойственное Пушкинскому стиху.

Переходъ въ томъ же монологѣ Русалочки отъ бѣлаго стиха къ риѳмованному даетъ поводъ къ новому недоумѣнію.

Бѣлый стихъ долженъ быть такъ же выдержанъ, какъ и риѳмованный. Если на фонѣ риѳмованныхъ стиховъ бѣлые стихи звучатъ дис-

сонансомъ, то равнымъ образомъ не къ мѣсту и въ бѣлыхъ стихахъ—риѳмованные. Пушкинъ позволялъ себѣ отступленія отъ правила, но въ какихъ случаяхъ? Когда риѳмованныя строки перлами ослѣпительной красоты вырывались изъ-подъ его пера, какъ выраженіе высшаго подъема страсти.

Такъ Самозванецъ въ самый патетическій моментъ объясненія съ Мариной, точно сознавая, что подъемъ чувства принесъ ему, наконецъ, слова, которыми онъ можетъ оправдать весь смыслъ своего дерзкаго дѣла, восклицаетъ:

Тѣнь Грознаго меня усыновила,
Димитріемъ изъ гроба нарекла,
Вокругъ меня народы возмутила
И въ жертву мнѣ Бориса обрекла.
Царевичъ я!

Да, для этихъ стиховъ, для выраженія такого чувства стоило нарушить правило, какъ стоило прервать стихъ въ «Черепѣ» и прозой досказать исторію студента, потревожившаго сонъ «праздныхъ костей».

Въ области техники Пушкинъ не имѣлъ соперниковъ и пользовался самыми смѣлыми, оригинальными пріемами, оставаясь строгимъ художникомъ.

Можно назвать подобное замѣчаніе мелочнымъ, но лишь изученіемъ поэта *до мелочей* мы пріобрѣтаемъ способность отличать оригиналъ отъ поддѣлки или плохой копіи и ограждаемъ себя отъ обидныхъ мистификацій.

II.

Перейдемъ теперь къ седьмой сценѣ.

Я уже указывалъ на неясность, сводящую весь монологъ Русалки къ простому набору словъ. Эта неясность, не дающая читателю возможности уразумѣть, ожила ли въ «подводной дѣвѣ» ея былая любовь, или обманутая дочь Мельника *такимъ именно способомъ* отомстила Князю, уничтожаетъ смыслъ развязки драмы. Если сюда прибавить несоотвѣтствіе между поступками Князя въ теченіе предыдущихъ сценъ и апокрифическою седьмой, то ее придется счесть самою слабою и — для Пушкинскаго генія — самою невѣроятною.

Восьмая сцена (разговоръ охотниковъ въ лѣсу) принадлежитъ, по отзыву Пушкина, сообщаемому г. Зуевымъ, къ *лучшимъ* мѣстамъ всего произведенія. И здѣсь мы рѣшительно отказываемся вѣрить «чудной памяти» автора записи.

Разговоръ охотниковъ еще энергичнѣе задерживаетъ развитіе дѣйствія, чѣмъ бесѣда Князя съ Русалочкой. Такой первоклассный техникъ, какъ Пушкинъ, не могъ безъ настоятельной необходимости допустить повторенія уже извѣстныхъ читателю подробностей. Охотники говорятъ о приключеніи съ дочерью Мельника, не прибавляя *ни одной новой* или *интересной* черты. Замѣчательно, что незнающимъ объ этомъ происшествіи является *любимецъ Князя*, а знающимъ—

«одинъ изъ охотниковъ». Опять, конечно, мелочь, и опять мелочь характерная.

Любимецъ Князя находитъ происшествіе неважнымъ и во всемъ винитъ дочь Мельника:

По-моему, сама подговорилась:
Князь молодъ и горячъ, красавецъ безотказный,
Богатъ и щедръ. Должна быть рада дура!
Не конюхъ, князь ее бабенкой справилъ (!).
Вотъ, ты не князь, а на своемъ вѣку
Чай не съ одной дѣвчоночкой спознался?
Такъ и женись на всѣхъ!?... Быль не укоръ
Для молодца; охотой отдалася,
Не силой взялъ. Самъ знаешь поговорку:
«Насильно милъ не будешь»..

Цинизмъ и грубость этихъ разсужденій должны убѣдить каждаго, что Пушкинъ здѣсь ни при чемъ. Нигдѣ мы не найдемъ у него такого пошлаго выраженія, такихъ пошлыхъ, якобы народныхъ, взглядовъ на «дѣвчоночекъ». Въ той же «Русалкѣ» покладистый Мельникъ дорого расплачивается за измѣну родительскому долгу, а сущность драмы составляетъ именно поруганная любовь «дѣвчоночки».

Конечно, можно придумывать всякія незамысловатыя объясненія и оправданія «разговору охотниковъ». Можно допустить предположеніе, что любимецъ Князя—человѣкъ развращенный, или что онъ говоритъ такимъ образомъ изъ чувства привязанности къ господину, но диссонансъ всегда останется диссонансомъ. Пушкинъ потому и великъ, что его произведенія не нуждаются въ

незамысловатыхъ поясненіяхъ и оправданіяхъ. Чѣмъ глубже мы проникаемъ въ ихъ внутренній смыслъ, тѣмъ ярче выступаютъ предъ нами стройность и соразмѣрность подробностей, тѣмъ яснѣе становятся для насъ строгое послѣдовательное развитіе его мысли и классическая законченность образовъ. А въ апокрифическихъ сценахъ «Русалки» мы наблюдаемъ обратное. Чѣмъ пристальнѣе въ нихъ вглядываешься, тѣмъ больше замѣчаешь странностей, неясностей, несообразностей и прямо нелѣпостей.

И неужели это—Пушкинъ? Во всякомъ случаѣ *такого* Пушкина мы до сихъ поръ не знали.

III.

Послѣдняя сцена (теремъ) тоже содержитъ «лучшее мѣсто» «Русалки»—сонъ Княгини.

Я говорилъ уже о немъ въ предшествовавшей статьѣ. Монологъ Княгини, дѣйствительно, содержитъ *намекъ* на красивый образъ, но только намекъ. Блѣдные, незвучные стихи, въ которыхъ не слышно ни тревоги, ни страха, ни страсти, передаютъ очень безцвѣтно, какъ Княгиня въ яхонты рядилась и съ Княземъ стала предъ налоемъ. Зеркало подъ ногами, въ которомъ вспыхиваютъ свѣчи и открывается картина вѣнчанія Князя «съ красавицей, подводною жилицей»—единственный оригинальный образъ во всемъ апокрифѣ, но онъ переданъ крайне неуклюже,

съ видимымъ усиліемъ, и о немъ скорѣе догадываешься, нежели видишь его воочію. И все-таки эти нѣсколько строкъ—«яркая заплата на ветхомъ рубищѣ пѣвца», до такой степени слабо остальное!

Развязка драмы — образецъ безталанной выдумки.

Охотники подаютъ Княгинѣ кольцо. Княгиня взглядываетъ на него, восклицаетъ: «кольцо?... кольцо!!... охъ сердце!!!»—и падаетъ мертвою на руки Мамкѣ.

Интересно знать, какой бездарный, лишенный всякой фантазіи драматургъ не закончилъ бы пьесы именно такимъ образомъ?

Нѣтъ, и заключительная сцена безспорно не принадлежитъ Пушкину.

Я высказалъ предположеніе, что Пушкинъ отбросилъ бы записанныя г. Зуевымъ, съ очевидною и грубою неточностью, сцены. Странно, все-таки, думать, что онѣ *могли* существовать въ *подобномъ* видѣ. Пушкинъ былъ необыкновенно «взыскательный художникъ». Ему ничего не стоило вычеркнуть такія, напримѣръ, дивныя строки изъ *Онѣгина*.

Пора, перо покоя проситъ,
Я девять пѣсенъ написалъ,
На берегъ радостный выноситъ
Мою ладью девятый валъ.

Изученіе Пушкинскихъ варіантовъ вселяетъ глубокое благоговѣніе предъ замѣчательнымъ

трудолюбіемъ великаго поэта. Онъ не «маралъ шутя бумаги листъ летучій», а *работалъ* надъ стихомъ съ энергіей и усидчивостью, которой можетъ позавидовать любой ученый изслѣдователь. Развѣ у Пушкина можно встрѣтить фразы въ родѣ: «мама, мама, злой дѣдка обижаетъ» (приходится читать «мамà», «мамà», иначе не выйдетъ размѣра) или такой какофоніи, какъ *«что шутки шутишь; что»?*

Не оскорбляя памяти Пушкина, мы не можемъ признать подлинности опубликованныхъ въ «Русскомъ Архивѣ» сценъ изъ «Русалки». Если онѣ впрямь «Пушкинское наслѣдіе», то, несомнѣнно, «чудная память» сильно измѣнила г. Зуеву, и мы получили «наслѣдіе» въ такомъ видѣ, который и приблизительно не даетъ возможности судить о геніальномъ замыслѣ поэта.

К. Медвѣдскій.

XIV.

О „Русалкѣ“ Пушкина.

(«Русскія Вѣдомости», 21-го марта 1897 г., № 79).

„Русалка“. Драмма (sic) А. С. Пушкина, съ окончаніемъ по современной записи Д. П. Зуева.

Изданіе «Русскаго Архива». М. 1897 г. Цѣна 30 к.

«Русалка» Пушкина, какъ и очень многія произведенія нашего великаго поэта, осталась неоконченной, или, по крайней мѣрѣ, до насъ дошла

она безъ окончанія. Мы знаемъ, что Пушкинъ много и долго работалъ надъ темой, которая лежитъ въ основѣ драмы, но въ исторіи ея созданія для насъ многое остается тайной. Мы знаемъ, что драма стоитъ въ тѣсной связи по сюжету съ одною изъ «Пѣсенъ Западныхъ Славянъ», именно съ «Янышемъ-Королевичемъ». Но и эта пѣсня осталась неоконченной, обрывается почти на томъ же мѣстѣ, какъ и драма; ссылка же Пушкина на подлинникъ, очень длинный и состоящій изъ нѣсколькихъ частей, ничего намъ пока не даетъ, такъ какъ мы до сихъ поръ не знаемъ подлинника этой пѣсни, представляющейся своего рода загадкою. У насъ есть кромѣ того программа «Русалки», но она оканчивается опять-таки почти на томъ же мѣстѣ, гдѣ и драма, причемъ мы не знаемъ, представляетъ ли изъ себя эта программа тоже отрывокъ, или же поэтъ хотѣлъ закончить свое произведеніе въ ея предѣлахъ.

Давно уже высказывались сожалѣнія, что такое высоко-художественное произведеніе Пушкина осталось неоконченнымъ. Строго говоря, въ извѣстномъ отрывкѣ драма настолько уже развилась, что ея окончаніе несомнѣнно для читателя: встрѣча Князя съ его маленькой дочерью-Русалочкой приведетъ къ тому концу, котораго желала Русалка: Князь долженъ кинуться въ Днѣпръ. Такимъ образомъ, драмѣ не хватаетъ только одного заключительнаго аккорда, но, конечно, читатель не могъ не жалѣть, что поэтъ

не довелъ до близкаго уже конца всего чуднаго произведенія.

Въ печати были извѣстны двѣ попытки окончить «Русалку». Одну представляетъ собою либретто оперы Даргомыжскаго, другую—напечатанное въ 1878 г. въ Москвѣ «Продолженіе и окончаніе драмы Пушкина «Русалка», сочиненіе И. О. П. Оба эти окончанія представляются неудачными. Но вотъ недавно появилось новое окончаніе Пушкинской «Русалки», которое печатается какъ подлинное произведеніе Пушкина, какъ возстановленіе утраченнаго конца драмы.

Читатели «Русскихъ Вѣдомостей» знакомы уже нѣсколько съ этимъ окончаніемъ и его таинственной исторіей по двумъ письмамъ, напечатаннымъ въ газетѣ. Въ одномъ изъ писемъ г. Л—нъ передалъ вкратцѣ содержаніе новаго окончанія «Русалки», привелъ изъ него отрывки и разсказалъ его исторію, выразивъ при этомъ мнѣніе, что новооткрытое окончаніе не представляетъ подлиннаго Пушкинскаго произведенія. Г. Л—ну отвѣчалъ Б. Н. Чичеринъ, высказавшійся рѣшительно въ пользу подлинности новаго окончанія «Русалки». Теперь, когда «Русскій Архивъ» и на страницахъ самого журнала, и въ отдѣльно изданномъ оттискѣ далъ новооткрытое окончаніе «Русалки», мы можемъ судить о немъ по всему его тексту. Прежде всего надо передать исторію этого произведенія, какъ она разсказана издателемъ.

По словамъ П. И. Бартенева, къ числу пріятелей Пушкина принадлежалъ поэтъ Губеръ. Въ ноябрѣ 1836 г. Пушкинъ читалъ у него свою «Русалку» *вполнѣ*. «На этомъ чтеніи присутствовалъ Дмитрій Павловичъ Зуевъ, нынѣ маститый старецъ, въ то время отрокъ, преисполненный поклоненіемъ генію великаго поэта... Д. П. Зуевъ одаренъ чудесною памятью, которая въ молодыя лѣта его отпечатлѣвала въ себѣ цѣлыя страницы прослушаннаго или прочитаннаго. По возвращеніи отъ Губера онъ записалъ для себя послѣднія сцены «Русалки», наиболѣе поразившія его и навсегда врѣзавшіяся въ его воспоминаніе. Онѣ были дважды прочитаны великимъ поэтомъ по неотступной просьбѣ 14-ти-лѣтняго юноши, поддержанной Э. И. Губеромъ». Черезъ посредство Б. Н. Чичерина, окончаніе «Русалки», записанное Д. П. Зуевымъ, передано теперь, черезъ шестьдесятъ лѣтъ, для напечатанія въ «Русскій Архивъ».

Вотъ все, что̀ передаетъ г. Бартеневъ. Совершенно очевидно, что этотъ разсказъ, неполный и неточный, не можетъ удовлетворить читателя, не разъясняетъ ему тѣхъ вопросовъ, которые невольно возникаютъ при такомъ необычномъ явленіи, при изданіи произведенія великаго поэта не по подлинной рукописи, не по копіи съ нея, а по записи, сдѣланной шестьдесятъ лѣтъ назадъ четырнадцатилѣтнимъ мальчикомъ. Итакъ Пушкинъ читалъ у Губера при Д. П. Зуевѣ всю «Русалку»; послѣднія сцены драмы особенно по-

нравились юному слушателю, онъ просилъ прочесть ихъ вторично, запомнилъ ихъ и потомъ записалъ у себя на дому. Тутъ является прежде всего вопросъ: почему же мальчикъ запомнилъ и записалъ шестую сцену съ того именно стиха, на которомъ обрывается отрывокъ дошедшей до насъ въ подлинной рукописи Пушкина? Точно онъ зналъ, что пропадетъ конецъ драмы именно съ этого мѣста. Если же г. Зуевъ написалъ больше, напримѣръ, съ самаго начала шестой сцены, то чрезвычайно было бы важно знать, какъ же написаны были имъ тѣ стихи, которые дошли до насъ въ подлинной рукописи. Затѣмъ, очень важно знать, печатается ли теперь окончаніе «Русалки» по той самой «подлинной» рукописи, которую г. Зуевъ написалъ въ 1836 г., или же по копіи, и если по копіи, то гдѣ же оригиналъ? Далѣе, что же дѣлалъ г. Зуевъ со своею записью въ теченіе шестидесяти лѣтъ? Читалъ ли онъ ее кому-нибудь и когда? Почему онъ ее до сихъ поръ не обнародовалъ? Почему онъ не сообщилъ свою запись окончанія «Русалки» послѣ того, какъ было напечатано начало драмы, друзьямъ Пушкина, издававшимъ его сочиненія? Почему Губеръ, писавшій о своихъ отношеніяхъ къ Пушкину въ «Русскомъ Инвалидѣ» 1837 г., ни слова не упомянулъ о слышанномъ имъ за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ окончаніи «Русалки», хотя самая статья Губера вызвана *тою самою книжкою* (шестою) «Современника», въ которой *напечатаны впервые*

начальныя сцены «Русалки»?... Всѣ эти и многіе другіе вопросы и недоумѣнія представляются передъ читателемъ, но на нихъ онъ не получаетъ отъ издателя никакого отвѣта. Вообще можно сказать, что издатель ничего не сдѣлалъ для разъясненія всѣхъ обстоятельствъ, не далъ даже тѣхъ указаній, которыя обязательны были бы при печатаніи даже менѣе «казусной» вещи, чѣмъ драма Пушкина, записанная по памяти 14-тилѣтнимъ мальчикомъ шестьдесятъ лѣтъ назадъ.

Собственно говоря, г. Бартеневъ дѣлаетъ одну попытку подтвердить передаваемый имъ разсказъ о записи «Русалки» г. Зуевымъ въ 1836 г.,— именно онъ ссылается на свидѣтельство А. О. Смирновой, въ запискахъ которой сообщается, что за нѣсколько дней до своей роковой дуэли, т.-е. въ концѣ января 1837 г., Пушкинъ передалъ своимъ друзьямъ, Жуковскому и другимъ, конецъ своей лирической драмы «Русалка». Не буду останавливаться на томъ, насколько вообще свидѣтельство записокъ Смирновой, какъ извѣстно, требуетъ внимательной провѣрки, не буду говорить о недоумѣніяхъ, которыя вызываются въ частности даннымъ ея разсказомъ; допустимъ, что свидѣтельство Смирновой въ этомъ случаѣ должно быть принято какъ доказательство, что Пушкинъ дѣйствительно написалъ конецъ «Русалки» и сообщилъ объ этомъ Жуковскому и другимъ друзьямъ впервые за нѣсколько дней до своей кончины. Подтверждаетъ ли это свидѣтельство разсказъ г. Зуева? Мнѣ кажется, что

нисколько. Если Пушкинъ только въ концѣ января впервые на словахъ сообщилъ своимъ ближайшимъ друзьямъ объ окончанiи «Русалки», то можемъ ли мы допустить, что онъ еще за два мѣсяца до того уже прочелъ свое произведенiе лицамъ, сравнительно ему вовсе неблизкимъ? Такимъ образомъ въ словахъ Смирновой мы не находимъ подтвержденiя разсказа о записи, сдѣланной г. Зуевымъ. Здѣсь скорѣе не подтвержденiе, а какъ бы опроверженiе.

Все, что̀ мы знаемъ по поводу новаго окончанiя «Русалки», и еще болѣе все то, чего не знаемъ, заставляло меня, признаюсь, заранѣе относиться съ извѣстнымъ предубѣжденiемъ къ записи г. Зуева. Я принимался за чтенiе, настроенный подозрительно противъ новоявленнаго текста «Русалки». И вотъ, несмотря на это предубѣжденiе, я долженъ сказать, что первое впечатлѣнiе при чтенiи было довольно благопрiятно. Если я не получилъ того «истиннаго наслажденiя», какое испытывалъ Б. Н. Чичеринъ, все же я нашелъ извѣстныя серьезныя достоинства въ напечатанномъ текстѣ, увидалъ въ немъ два главныя качества: первое, и самое главное,—въ записи г. Зуева встрѣчаются поэтическiе живые обороты, и выраженiя; второе—вся запись не представляется такой плохой поддѣлкой, какихъ встрѣчается немало. Но вмѣстѣ съ тѣмъ новый текстъ «Русалки», какъ мнѣ кажется, уже потому не можетъ давать цѣльнаго наслажденiя, что въ немъ мало новаго по содержанiю и по

расположенію сравнительно съ началомъ драмы. При ближайшемъ ознакомленіи съ новымъ текстомъ и при сопоставленіи его съ начальными Пушкинскими сценами, недостатки записи г. Зуева выступаютъ вполнѣ опредѣленно.

Читатели «Русскихъ Вѣдомостей» уже знакомы вкратцѣ изъ упомянутаго выше письма г. Л—на съ содержаніемъ конечныхъ сценъ «Русалки», и я не буду здѣсь говорить обо всемъ содержаніи записи г. Зуева. Ограниченный мѣстомъ, я постараюсь кратко указать на примѣры главнѣйшихъ особенностей Зуевскаго текста.

Прежде всего надо сказать, что заключительныя сцены «Русалки», содержа около *270-ти* [1]) *стиховъ*, т.-е. равняясь по объему *половинѣ* подлинныхъ начальныхъ сценъ, содержатъ очень мало дѣйствія, очень мало прибавляютъ къ тому, что̀ мы уже знаемъ изъ первыхъ сценъ. Правда, здѣсь довольно быстро, одна за другой, слѣдуютъ смерть Князя, Мельника, Княгини, но самое содержаніе сценъ представляетъ не столько дѣйствіе, сколько разсказъ, воспоминанія. Въ продолженіи шестой сцены—слова Русалочки, въ седьмой—объясненіе Русалочки съ Княземъ, наконецъ, въ восьмой—разговоръ охотниковъ представляютъ подробный разсказъ объ исторіи любви Князя и дочери Мельника, т.-е. разсказъ о томъ, что̀ читатель уже хорошо знаетъ, что̀ въ первой

[1]) Г. Якушкинъ пользовался невѣрнымъ счетомъ г. Бартенева. *А. С—нъ.*

сценѣ прошло передъ его глазами. Если еще до извѣстной степени понятно, что Русалочка по данному порученію повторяетъ Князю то, что̀ она знаетъ о прежней судьбѣ матери, объ отношеніяхъ между нею и Княземъ, если также болѣе или менѣе понятно и то, что при объясненіи съ Княземъ сама Русалка отдается воспоминаніямъ,—то совершенно ненужнымъ, прямо лишнимъ является разговоръ охотниковъ. И зритель, и всѣ дѣйствующія лица отлично знаютъ происшествія первой сцены и послѣдовавшія за ними обстоятельства, но вдругъ оказывается, что одно новое дѣйствующее лицо, «любимецъ Князя», поступившій къ нему на службу должно быть очень .недавно, ничего не знаетъ объ исторіи несчастной дочери Мельника, и ему одинъ изъ охотниковъ начинаетъ все разсказывать, между ними ведется длинный разговоръ объ этомъ... Отказываюсь допустить такой пріемъ со стороны Пушкина: вывести въ концѣ драмы неизвѣстно зачѣмъ новое лицо и повторять для него обо всемъ, что̀ произошло въ первыхъ сценахъ драмы, это наврядъ ли допуститъ какой бы то ни было мало-мальски опытный драматическій авторъ; это было бы крайне неэкономно и нецѣлесообразно. Если къ этому прибавить, что въ другихъ частяхъ окончанія «Русалки» мы тоже видимъ какъ бы повтореніе изъ первыхъ сценъ,—хоръ русалокъ, разговоръ Княгини и Мамки, пріѣздъ охотниковъ однихъ безъ Князя домой,—то можно, кажется, сдѣлать такое заключеніе: если есть основанія

думать, что запись, сдѣланная г. Зуевымъ, дѣйствительно даетъ подлинное произведеніе Пушкина, то мы должны были бы признать, что это не есть прямое продолженіе тѣхъ начальныхъ сценъ, которыя мы знаемъ, что это окончаніе совсѣмъ другой редакціи драмы, начало которой въ этой редакціи до насъ не дошло... Конечно, подобное предположеніе вызывало бы тоже нѣсколько недоразумѣній, но я на нихъ здѣсь не буду останавливаться.

Помимо повтореній, которыя несовмѣстимы съ начальными сценами, мы встрѣчаемъ въ записи г. Зуева цѣлый рядъ болѣе или менѣе значительныхъ противорѣчій относительно того, что̀ извѣстно изъ начальныхъ подлинныхъ сценъ. Укажу кратко нѣсколько примѣровъ. Въ объясненіи Русалки съ Княземъ (седьмая сцена) ея жалобы на то, что Князь укралъ ея румянецъ, что очи ея потухли отъ горькихъ слезъ, которыя онъ заставилъ ее проливать, и проч., все это противорѣчитъ тому, что̀ мы знаемъ: дочь Мельника не могла своимъ горемъ погубить красоту, такъ какъ, брошенная Княземъ, она немедленно тутъ же кинулась въ Днѣпръ, сразу погубила жизнь, не губя красоты продолжительнымъ горемъ. Хоръ русалокъ восьмой сцены оканчивается заявленіемъ ихъ намѣренія напасть на охотниковъ, причемъ онѣ нисколько не смущаются строгимъ запрещеніемъ своей царицы. «Да никого не трогайте сегодня»,—сказала она имъ въ пятой сценѣ, а изъ признанія русалокъ въ

четвертой сценѣ мы знаемъ, что онѣ слушались своей строгой сестры.

Какъ сказано выше, въ записи г. Зуева очень много повторяется такого, что мы знаемъ изъ начальныхъ сценъ драмы. При сопоставленіи этихъ повтореній или только сходныхъ мѣстъ, мы мѣстами поражаемся инымъ тономъ, въ какомъ то же самое передается въ записи г. Зуева. Въ разсказѣ Русалочки, въ объясненіи Русалки съ Княземъ, въ воспоминаніяхъ Княгини о томъ времени, когда Князь любилъ ее, мы замѣчаемъ извѣстнаго рода грубость въ образахъ, въ выраженіяхъ, которая совершенно отсутствуетъ въ первыхъ подлинныхъ сценахъ «Русалки». Я не говорю о грубости въ словахъ любимца Князя въ восьмой сценѣ: здѣсь она, быть можетъ, болѣе умѣстна. Въ первой сценѣ у Пушкина дочь Мельника говоритъ о своихъ отношеніяхъ къ Князю, говоритъ притомъ въ состояніи крайняго возбужденія; но если мы сравнимъ ея слова съ разсказомъ о тѣхъ же отношеніяхъ въ шестой сценѣ (по записи г. Зуева) въ словахъ Русалочки, затѣмъ въ объясненіи самой Русалки (сцена седьмая), то нельзя не видѣть, что все то же передается совершенно въ иномъ тонѣ. Такое же замѣчаніе надо сдѣлать при сравненіи послѣдняго разговора Княгини съ Мамкой съ подобнымъ же разговоромъ въ третьей сценѣ: опять сцена писана въ иномъ тонѣ, даже можно бы сказать,—на основаніи только этого сопоставленія,—писана другою рукой.

Сейчасъ мы видѣли противорѣчія заключительныхъ сценъ съ началомъ драмы. Но если мы возьмемъ только заключительныя сцены сами по себѣ, безъ сопоставленія съ начальными, и то въ нихъ окажется немало неловкихъ мѣстъ, нескладицъ. Приведу опять нѣсколько примѣровъ. Хоръ восьмой сцены, какъ мы сейчасъ видѣли, русалки заканчиваютъ намѣреніемъ напасть на охотниковъ и уплываютъ для этого какъ разъ въ то время, когда охотники выходятъ на сцену. Такъ, благодаря этому странному обстоятельству, никакого нападенія на охотниковъ и не происходитъ. Одинъ изъ охотниковъ разсказываетъ, что слышалъ какіе-то голоса, но никого не нашелъ, и думаетъ, что это лѣшій хороводилъ съ русалками:

Ихъ часъ теперь какъ разъ
Передъ разсвѣтомъ тѣшиться гулянкой.

ДРУГОЙ ОХОТНИКЪ.

Идти хоть на рѣку купаться; сонъ
Такъ и томитъ... Водицей освѣжиться.

Любимецъ Князя тотчасъ соглашается: «И то пойдемъ»... По-истинѣ удивительная сцена: указаніе на то, что теперь самое время для продѣлокъ со стороны русалокъ служитъ достаточнымъ поводомъ для организаціи общаго купанья; и притомъ все происходитъ, какъ мы знаемъ изъ хора русалокъ, въ туманное и свѣжее утро. Купанье не устраивается лишь потому, что появляется Русалочка.

Мы видѣли, что конецъ драмы въ записи г. Зуева даетъ намъ три смерти: Князя, Мельника и Княгини. Смерть Князя, кинувшагося въ Днѣпръ, представляется необходимой, вытекающей изъ того, что намъ даютъ подлинныя начальныя сцены. Никакъ нельзя того же сказать о смерти Княгини: драма могла бы и ничего намъ не говорить о концѣ Княгини: эта послѣдняя настолько всетаки второстепенное лицо въ пьесѣ, что читатель вовсе не сталъ бы считать драму неоконченной, если бы поэтъ не далъ отчета въ судьбѣ Княгини. Еще менѣе нужна смерть Мельника. Онъ умираетъ, повидимому, не вынося проклятія дочери, которое,—кстати сказать о немъ,—не представляется достаточно умѣстнымъ, достаточно мотивированнымъ. Охотникъ идетъ по сценѣ и падаетъ, споткнувшись неожиданно о трупъ Мельника, который, надо прибавить, за нѣсколько стиховъ передъ этимъ «страшно каркалъ». «Ну, отъ часу нелегче»—восклицаетъ любимецъ Князя,—да и зрителю остается повторить то же самое.

Драма въ записи г. Зуева оканчивается разговоромъ Княгини съ Мамкой. По своему расположенію сцена напоминаетъ, какъ уже сказано, третью сцену: воспоминанія Княгини отличаются здѣсь тою сравнительною грубостью тона, о которой я говорилъ выше. Главное содержаніе сцены—разсказъ Княгини о своемъ страшномъ снѣ: сонъ этотъ хорошъ по замыслу, но, помимо отдѣльныхъ неудачныхъ выраженій, онъ слабъ въ своемъ исполненіи,—онъ холоденъ по пере-

дачѣ, нисколько не производитъ на читателя того ужаса, который должна испытать Княгиня. Сцена заканчивается смертью Княгини и возгласомъ Мамки:

Умерла!
Въ сонмъ ангеловъ прими ее, Всевышній!

Другими словами, это значитъ: «Царство ей небесное». Странное окончаніе для драмы, странныя слова въ устахъ преданной Мамки и по своему равнодушію, и по своей формѣ, вполнѣ напоминающей Кукольниковскую манеру.

Стихи въ записи г. Зуева оказываются иногда крайне шероховаты. Есть поразительные случаи, когда приходится читать: «Мама̀! Мама̀!» вмѣсто ма̀ма, «сказкѝ» вмѣсто ска̀зки. Особенность записи еще въ томъ, что въ ней попадаются риѳмованные стихи въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Вся драма написана бѣлыми стихами, и въ первой сценѣ,—хоръ русалокъ четвертой сцены, какъ и хоръ русалокъ седьмой сцены, не идетъ въ счетъ,—встрѣчается только одинъ случай риѳмы, въ словахъ Мамки въ третьей сценѣ, но здѣсь риѳма объясняется народнымъ складомъ рѣчи. Между тѣмъ въ записи г. Зуева риѳма попадается не разъ. Извѣстно, что Пушкинъ въ своемъ «Борисѣ Годуновѣ», написанномъ (за исключеніемъ сцены Маріи Мнишекъ съ Рузей) бѣлыми стихами, иногда, какъ это дѣлалъ и Шекспиръ, даетъ риѳмованные стихи въ концѣ сцены, или въ особенно сильныхъ мѣстахъ, какъ, напр.,

извѣстныя слова Самозванца: «Тѣнь Грознаго меня усыновила» и пр. Но въ записи г. Зуева риѳмованные стихи вовсе не имѣютъ такого усиливающаго значенія, и риѳма здѣсь является очень некрасивою неожиданностью.

Не задаваясь цѣлью исчерпать всѣ недостатки, всѣ нескладицы, которыя замѣчаются въ записи, сдѣланной г. Зуевымъ, я привелъ только отдѣльные примѣры, могущіе охарактеризовать значеніе текста заключительныхъ сценъ «Русалки». Приведенныхъ указаній, думается, достаточно, чтобы судить о записи.

Издатель «Русскаго Архива» безусловно принимаетъ весь разсказъ о томъ, что запись эта представляетъ точное воспроизведеніе читаннаго Пушкинымъ, признаетъ ее за подлинное окончаніе «Русалки». Онъ готовъ согласиться, что это окончаніе неотдѣланное, какъ неотдѣлана была и первая часть драмы, напечатанная по подлинной рукописи. При этомъ г. Бартеневъ высказываетъ смѣлое мнѣніе, что Пушкинъ, если бы сталъ отдѣлывать конецъ «Русалки», могъ бы его испортить. Странное понятіе о работѣ Пушкина надъ его произведеніями...

Вопреки приведенному мнѣнію, я никакъ не могу признать въ записи г. Зуева подлинное окончаніе той «Русалки», которую мы знаемъ. Выше указаны не только недостатки записи г. Зуева самой по себѣ, но и ея несогласимость съ первой подлинной частью драмы. Мы не можемъ соединять въ цѣлое подлинное начало съ такимъ

концомъ, не можемъ допустить, чтобы тѣ нескладицы, которыя имѣются въ этомъ концѣ, такую неотдѣланность стиха и проч. могъ допустить Пушкинъ даже въ своей черновой, которую онъ привезъ для чтенія въ чужой домъ; мы не можемъ никакъ признать, будто бы Пушкинъ считалъ этотъ конецъ выше самаго начала драмы, какъ утверждаетъ г. Зуевъ. Конечно, какъ относительно подобныхъ сомнѣній, такъ и относительно недоразумѣній, вызываемыхъ разсказомъ о самомъ способѣ полученія записи, можно дѣлать разнообразныя предположенія; но разъ только отступить отъ свидѣтельства г. Зуева, мы теряемъ самыя основы, и ужъ тутъ очень трудно установить какіе-либо предѣлы и выяснить, что̀ же Пушкинскаго мы тутъ имѣемъ.

Что же такое запись г. Зуева? Не буду отвѣчать на этотъ вопросъ, но напомню, что извѣстны случаи, когда Пушкину приписывались стихи, которые, какъ потомъ оказывалось съ полнѣйшей достовѣрностью, принадлежали вовсе не ему.

За примѣромъ недалеко ходить и теперь. Въ той же книжкѣ «Русскаго Архива», гдѣ напечатана запись г. Зуева, помѣщены также письма Н. Ф. Павлова къ Краевскому. Въ одномъ письмѣ Павловъ приводитъ два стиха, не обозначая, откуда они заимствованы, и г. Бартеневъ дѣлаетъ примѣчаніе: «*Кажется, это кишиневскіе стихи Пушкина*»; а между тѣмъ эти стихи взяты изъ довольно-таки извѣстнаго произведенія, изъ «Дома

сумасшедшихъ» Воейкова. Подобный обычай всѣ стихи, которые почему-нибудь понравятся, приписывать Пушкину невольно напоминаетъ одного изъ героевъ Гоголя. «Переписалъ очень хорошіе стишки: Душеньки часокъ не видя, думалъ годъ ужъ не видалъ; жизнь мою возненавидя, льзя ли жить мнѣ, я сказалъ. *Должно быть Пушкина сочиненіе*».

Надо быть крайне осторожнымъ въ приписываніи какихъ-нибудь стиховъ Пушкину безъ достаточныхъ, провѣренныхъ основаній. Въ прошломъ можно найти немало поучительныхъ указаній относительно этого. При изданіи же стиховъ, приписываемыхъ почему-либо Пушкину, необходимо выяснять всѣ обстоятельства и устранять или во всякомъ случаѣ указывать всѣ возникающія недоразумѣнія. Иначе при недостаткѣ критики можно впасть въ большую ошибку и ввести за собою въ заблужденіе и другихъ. Печатать что-либо подобное безъ исполненія даже элементарныхъ требованій правильнаго изданія текстовъ значитъ оказывать полное неуваженіе къ памяти великаго поэта.

В. Якушкинъ.

XV.

Критическіе очерки.

(«Новое Время», 21-го марта 1897 г., № 7566).

I.

Въ послѣднемъ выпускѣ «Русскаго Архива» напечатана Пушкинская «Русалка» съ *поддѣльнымъ* окончаніемъ. Я говорю: съ поддѣльнымъ окончаніемъ, потому что тѣ заключительныя сцены, которыя приписываются Пушкину г. Зуевымъ, ихъ доставившимъ въ «Архивъ», и издателемъ «Архива» г. Бартеневымъ, могутъ быть написаны кѣмъ угодно, но только не Пушкинымъ. Это ясно для каждаго, кто что-нибудь понимаетъ въ стихахъ, кто читалъ Пушкина и кто внимательно прочитаетъ новыя сцены, рекомендуемыя гг. Зуевымъ и Бартеневымъ за Пушкинскія. Ниже я постараюсь подтвердить такое мнѣніе выдержками не только плохихъ, но просто невозможныхъ стиховъ изъ поддѣльныхъ сценъ. А сначала приведу нѣкоторыя соображенія не по существу дѣла, но о тѣхъ объясненіяхъ, какія даютъ г. Бартеневъ и г. Зуевъ насчетъ поддѣльныхъ сценъ, желая выдать ихъ за подлинныя, Пушкинскія.

«По кончинѣ Пушкина,—объясняетъ издатель «Русскаго Архива»,—«Русалка» найдена въ его

бумагахъ недоконченною и напечатана въ первый разъ въ «Современникѣ» 1837 года. Тутъ и во всѣхъ собраніяхъ сочиненій Пушкина всего пять сценъ и 17 стиховъ шестой сцены. Окончаніе этой шестой сцены и еще три сцены, довершающія чудесную драму, считались вовсе ненаписанными, либо утраченными, какъ и нѣкоторыя другія произведенія Пушкина, о которыхъ остались только отмѣтки въ его бумагахъ или въ воспоминаніяхъ его пріятелей. Къ числу сихъ послѣднихъ принадлежалъ Эдуардъ Ивановичъ Губеръ, переводчикъ Гетева Фауста. Пушкинъ любилъ его начинавшее проявляться дарованіе и въ ноябрѣ 1836 года читалъ у него свою «Русалку» вполнѣ. На этомъ чтеніи присутствовалъ Дм. Павл. Зуевъ, нынѣ маститый старецъ, въ то время еще отрокъ, преисполненный поклоненіемъ генію великаго поэта, твореніями котораго и доселѣ услаждаются дни его. Д. П. Зуевъ одаренъ чудесною памятью, которая въ молодыя лѣта его отпечатлѣвала въ себѣ цѣлыя страницы прослушаннаго или прочитаннаго. По возвращеніи отъ Губера онъ записалъ для себя *послѣднія сцены* «Русалки», наиболѣе поразившія его *и навсегда врѣзавшіяся въ его воспоминаніе*. Онѣ были дважды прочитаны великимъ поэтомъ, по неотступной просьбѣ 14-лѣтняго юноши, поддержанной Э. И. Губеромъ. Д. П. Зуевъ помнитъ также, что А. С. Пушкинъ признавалъ хоръ «Русалокъ» «Туманной росою окрестность полна», «Разговоръ охотниковъ въ лѣсу» и въ особен-

ности «Сонъ Княгини» лучшими мѣстами драмы. Д. П. Зуевъ сообщилъ свою дорогую запись, *хранившуюся у него слишкомъ полвѣка*, Борису Николаевичу Чичерину, который любезно передалъ ее, съ согласія Д. П. Зуева, въ «Русскій Архивъ».

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить по поводу этого объясненія, что Пушкинъ никогда не былъ «пріятелемъ» Губера. Объ отношеніяхъ Пушкина къ Губеру извѣстно только вотъ что: узнавъ, что Губеръ переводитъ «Фауста», Пушкинъ познакомился съ нимъ и старался поощрить молодого переводчика въ этой работѣ своими совѣтами и указаніями. Такія отношенія еще очень далеки отъ пріятельскихъ. Затѣмъ г. Бартеневъ утверждаетъ какъ будто *извѣстный*, установленный фактъ чтенія Пушкинымъ «Русалки» въ ноябрѣ 1836 года. Объ этомъ чтеніи г. Бартеневу передалъ г. Зуевъ. Такъ бы и слѣдовало объяснить. Было ли на самомъ дѣлѣ это чтеніе—никакими другими свидѣтельствами это не подтверждается. Разсказъ же г. Зуева объ обстоятельствахъ чтенія—скажу прямо—мало правдоподобенъ. Пушкинъ былъ очень добродушнымъ человѣкомъ, какъ свидѣтельствуютъ о немъ его современники. Но все же довольно странно, что поэтъ по просьбѣ «отрока», ни съ того, ни съ другого, перечитываетъ отроку и Губеру *окончаніе* «Русалки». Еще страннѣе, что онъ перечитываетъ именно тѣ сцены, которыя оказались утраченными послѣ его смерти, какъ будто Пушкинъ

предвидѣлъ, что *именно эти сцены* будутъ утрачены, и постарался два раза ихъ продекламировать отроку Зуеву, дабы отрокъ лучше ихъ «отпечатлѣлъ» въ своей «чудесной памяти»! Но самое странное тутъ вотъ что. Пушкинъ, великій и геніальный поэтъ, удивительная критическая чуткость котораго сказывается такъ ярко во всѣхъ дошедшихъ до насъ оцѣнкахъ и собственныхъ его. и чужихъ поэтическихъ вещей,—этотъ самый Пушкинъ признаетъ «лучшими мѣстами драмы» просто плохія по смыслу и по стихамъ сцены, признаетъ ихъ лучшими только потому, что онѣ «наиболѣе поразили» отрока! Это не только невѣроятно, но даже и нехорошо выдумано.

Прибавлю къ объясненіямъ г. Бартенева еще вотъ что. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Д. П. Зуевъ читалъ напечатанное теперь въ «Архивѣ» окончаніе «Русалки» въ Русскомъ Литературномъ Обществѣ. Тогда г. Зуевъ заявлялъ, что это окончаніе *записано имъ въ 1883 году,* а до того онъ хранилъ его въ своей «чудесной» памяти. Теперь, по словамъ г. Бартенева, г. Зуевъ заявилъ, что окончаніе «Русалки» отрокъ записалъ «по возвращеніи отъ Губера». Какому же заявленію г. Зуева нужно вѣрить? Я полагаю, что ни тому, ни другому, потому что оба заявленія мало основательны. Держать хотя бы и въ «чудесной памяти» окончаніе «Русалки» чуть не пятьдесятъ лѣтъ, не записывая его и не предлагая напечатать—болѣе чѣмъ странно. Записывать

же въ 1836 году именно тѣ сцены, которыхъ не оказалось въ бумагахъ Пушкина послѣ его смерти, еще страннѣе, если, конечно, не допустить, что «отрокъ» обладалъ не только «чудесной» памятью, но и чудеснымъ провидѣніемъ.

Не лишнимъ будетъ замѣтить, что въ томъ собраніи Русскаго Литературнаго Общества, въ которомъ читалъ окончаніе «Русалки» г. Зуевъ, членами Общества было выражено почти единогласно сомнѣніе въ принадлежности Пушкину «окончанія». Въ собраніи тогдашнемъ находились и беллетристы, и поэты, и критики и даже адвокаты и администраторы, претендующіе на литераторство. Въ чтеніи г. Зуева—онъ читалъ съ замѣчательнымъ искусствомъ—плохіе стихи очень скрадывались и сцены вообще выигрывали противъ того, какими онѣ теперь представляются въ печати. Но все-таки никто изъ слушателей не восхитился сценами, не призналъ въ нихъ Пушкинской простоты, художественнаго и поэтическаго изящества. А среди этихъ слушателей были люди, безъ сомнѣнія, кой-что понимавшіе въ поэзіи, напримѣръ покойный Майковъ. Г. Зуеву не удалось никого увѣрить въ томъ, что эти сцены представляютъ «геніальный набросокъ», сдѣланный великимъ поэтомъ, какъ онъ увѣрилъ теперь почтеннаго П. И. Бартенева.

II.

Г. Бартеневъ «для полноты» передъ поддѣльнымъ окончаніемъ «Русалки» перепечаталъ ея начало. Когда переходишь отъ подлинныхъ стиховъ Пушкина къ «записаннымъ» стихамъ г. Зуева, то этотъ переходъ производитъ такое впечатлѣніе, какъ если бы вы слушали симфонію Бетховена, исполняемую хорошимъ оркестромъ, и вдругъ тотчасъ же вслѣдъ за этой симфоніей оркестръ принялся бы безпорядочно настраивать инструменты.

Драма Пушкина прерывается на вопросѣ Князя Русалочкѣ: «Откуда ты, прелестное дитя?» Зуевская Русалочка отвѣчаетъ на этотъ вопросъ неуклюже составленными стихами отнюдь не Пушкинской работы.

Откуда?.. Матушка послала. Знаешь,
Что въ теремѣ прозрачномъ, въ глубинѣ
Днѣпра рѣки, царицею русалокъ,
Все о тебѣ кручиняся, живетъ
Съ *минуты* той, какъ ты ее покинулъ.

КНЯЗЬ.

Дитя!..

РУСАЛОЧКА.

Постой, не то я позабуду
Что велѣно тебѣ *пересказать*,
Напомнить: какъ она тебя любила...
Какъ обманулъ... какъ дѣдушка во всемъ
Мирволилъ вамъ... Какъ ночкою сидѣли

Забывшися *до позднихъ* пѣтуховъ
За мельницей... Еще про дубъ *какой-то,*
Гдѣ въ первый разъ ее ты *приласкалъ...*
Еще... Еще?.. Запомнить не сумѣла...
Не гнѣвайся! Прости, что позабыла,
И *поцѣлуй. Тебя* поцѣловать
И приласкать *она меня* просила.
Пойдемъ же къ ней, въ *нашъ теремъ водъ прозрачныхъ!*

КНЯЗЬ.

Но кто же ты?

РУСАЛОЧКА.

Не знаешь?.. Дочь твоя,
Русалочка. Припомни, говорила,
Прощаясь, мать: «Нельзя, чтобы на вѣкъ
Разстались *вы; что* шутку шутишь; *что*
Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся!..
—Ахъ, въ кустикѣ тамъ птенчикъ встрепенулся!..
—Покинулъ ты, уѣхалъ, и она
Въ Днѣпръ бросилась, русалкой вольной стала,
Въ Днѣпрѣ меня, малютку, родила,
Сребристою волною спеленала,
Русалочкой, княжною назвала
И за тебя любила и ласкала.

Зуевская Русалочка, дѣйствительно, совсѣмъ позабыла, что ей наказывала передать Князю Пушкинская Русалка и болтаетъ зря вздоръ, поражающій *неточностью* и *растянутостью* выраженій, т.-е. такими недостатками, которыхъ Пушкинъ никогда не допускалъ въ своихъ стихахъ. Пушкина Русалка вотъ что наказывала дочери:

Къ нему нѣжнѣе *приласкайся*
И разскажи все то, что отъ меня

Ты знаешь про свое рожденье, также
И про меня. И *если спроситъ онъ,*
Забыла-ль я его, иль нѣтъ: скажи,
Что все его я помню и люблю
И жду къ себѣ.

Зуевская Русалочка совсѣмъ не о томъ передаетъ Князю. Вмѣсто того, чтобы *приласкаться* къ отцу, она говоритъ, что *она тебя меня* просила *приласкать.* У Пушкина Князь вызывалъ дочь Мельника «съ полуночи» подниматься на его свистъ «и до зари за мельницей сидѣть». А Зуевская Русалочка передаетъ, что ей мать говорила, будто бы она съ Княземъ сидѣла «ночкою до *позднихъ* пѣтуховъ», хотя пѣтухи, поющіе съ полуночи, не могутъ называться поздними. Вмѣсто того, чтобы сказать Князю, что ея мать помнитъ его и любитъ и ждетъ къ себѣ, Зуевская Русалочка совершенно неумѣстно напоминаетъ ему, какъ онъ обманулъ ея мать, какъ «ребенокъ подъ сердцемъ шевельнулся», и повторяетъ, ни къ селу, ни къ городу, кажется только для ненужной риѳмы, подробности о птичкѣ, встрепенувшейся подъ кустами,—подробность, заимствованную изъ Пушкинской пѣсни русалокъ:

Тише! Птичка подъ кустами
Встрепенулася во мглѣ.

Затѣмъ, Зуевская Русалочка начинаетъ выражаться такъ, какъ Пушкинъ никогда бы не могъ написать: «пойдемъ въ *теремъ водъ* про-

зрачныхъ», затѣмъ болтаетъ вздоръ, что будто бы мать-Русалка назвала ее княжною и *за князя* любила и ласкала. Все это по-истинѣ нелѣпо и плохо до того, что приписывать сочиненіе такихъ стиховъ Пушкину по меньшей мѣрѣ неприлично.

Зуевскій Мельникъ, появляющійся вслѣдъ за Русалочкой, еще болѣе внучки проговаривается такими выраженіями, которыхъ пошлость поразительна. Зуевскій Мельникъ кричитъ Князю:

> *Не оскверняй невинныхъ устъ ребенка*
> Нечистыхъ устъ своихъ нечистой лаской.
> У ворона,—я воронъ,—клювъ остеръ
> И когти есть: онъ защитить сумѣетъ:
> Онъ крыльями *могучими собьетъ*
> *И острыми когтями сердце вырветъ.*

Воронъ, сбивающій сердце крыльями и вырывающій его когтями, — это образъ, созданный Пушкинымъ! Мельникъ, который у Пушкина говоритъ такъ художественно обработанной и такъ хорошо выдержанной простонародной рѣчью, вдругъ начинаетъ выкрикивать на манеръ Кукольниковскихъ героевъ объ оскверненіи невинныхъ устъ ребенка!

Но вотъ и дочь Мельника выступаетъ, вполнѣ «оконченная» г. Зуевымъ. Въ ея рѣчахъ уже звучитъ такая антихудожественная фальшь, которую можетъ не примѣтить только развѣ благодушный г. Бартеневъ, повѣрившій «маститому старцу» г. Зуеву на слово, что авторъ этой фальши — А. С. Пушкинъ. Русалочка кричитъ отцу: «*продавецъ* дочери проклятый!» Неужели Пуш-

кинъ могъ допустить стихъ съ этимъ продавцемъ? Дальнѣйшій монологъ просто ужасенъ по набору пошлыхъ, ненужныхъ и неловкихъ стиховъ и выраженій:

Что скажешь, князь?.. Какъ *приглянулась* дочь
Красавица, *красавцемъ зачатая*—
Тобой! Въ тебя *рожденная* лицомъ.

Для чего Русалкѣ спрашивать у отца, какъ *приглянулась* ему дочь? Вѣдь она не сватать ее сбирается. Выраженіе «красавцемъ зачатая» — пошло. Не говорится: въ тебя *рожденная* лицомъ, а говорится: вышла лицомъ въ отца, или просто: лицомъ въ отца, въ мать. Далѣе:

И я, ты помнишь ли?... была когда-то
Румяная, что *утро на зарѣ;*
Уста какъ жаръ пылали, ярче звѣздъ
Блистали очи, *страстью зажигаясь,*—
Когда любились мы... Ахъ, страшно вспомнить!..
Румянецъ ты укралъ, *покрылъ позоромъ.*
Отъ слезъ угасли очи, горькихъ слезъ!..
Уста поблекли, *жаждой поцѣлуя*
Палящею, ревнивою томясь,
И день и ночь такъ долго, много лѣтъ,
Ждала тебя, безумно мстить хотѣла
За твой обманъ, за свой дѣвичій стыдъ,
За ревности сердечныя страданья,
За ночи, князь, съ разлучницей моей,
За ласки страстныя ея объятій...
Увидѣла—забыла оскорбленья,
Замолкла *месть поруганной любви...*

Всѣ подчеркнутыя выраженія отзываются пошлымъ тономъ цыганскихъ романсовъ и плохихъ

виршей и совершенно не идутъ къ складу рѣчей Пушкинской «Русалки». Могъ ли Пушкинъ написать: «румяная, что утро на зарѣ»? Можно сказать: румяная, какъ заря утра. Но утро на зарѣ — вѣдь это все равно, что утро на утрѣ. Могъ ли Пушкинъ написать, что Князь «покрылъ румянецъ позоромъ»? Могъ ли Пушкинъ выдумать «жажду палящаго *ревниваго* поцѣлуя»? Всѣ эти стихи, какъ и прочіе, обозначенные курсивомъ, такъ фальшивы и пошлы, что не только для Пушкина немыслимы, но даже и для посредственнаго поэта, не лишеннаго вкуса. А г. Зуевъ «записалъ» у Пушкина не только эти стихи, но даже такой стихъ, какъ «истомный, сладкій, прежній поцѣлуй»—стихъ уже прямо изъ цыганскихъ романсовъ.

III.

Но то ли еще «записалъ» г. Зуевъ, руководствуясь своей чудесной памятью. У г. Зуева въ слѣдующей сценѣ хоръ русалокъ поетъ:

Соловьи зарю встрѣчаютъ
Пѣснью страстною своей.

Г. Зуевъ, будучи отрокомъ въ то время, когда записывалъ окончаніе «Русалки», конечно, могъ не знать, что соловьи не поютъ утромъ, а только ночью. Но неужели же Пушкинъ не зналъ этого? Неужели великій поэтъ, у котораго въ стихахъ

не найдется ни одного неточнаго и невѣрнаго эпитета, могъ сдѣлать такой грубый промахъ? Кромѣ соловьевъ, поющихъ на зарѣ, въ рѣчи русалокъ пущенъ также тонъ цыганскихъ романсовъ:

Пронесемтесь *надъ* рѣкою
И, *чаруя красотою,*
Пѣсней страстной, *огневою*
Заманимъ въ себѣ ловцовъ.

Русалки не могутъ «проноситься надъ рѣкою»; онѣ только плаваютъ по рѣкѣ. Что касается до *огневой* пѣсни, то подобный пошлый и неумѣстный эпитетъ въ Пушкинскомъ стихѣ невозможно допустить ни подъ какимъ видомъ.

Охотники г. Зуева выражаются немножко на манеръ «прислуги» петербургской: «Сказать, что въ воду канулъ», «сказать, малютка вышла изъ воды», «дѣвушка, съ стыда да съ горя, въ *воду—погибла*». Какой-то «любимецъ (?) Князя» отвѣчаетъ охотнику сначала стихомъ совсѣмъ безъ размѣра, а потомъ невѣроятными пошлостями:

Сказки! Непраздною... погибла... важность!
По твоему, что-жъ?—цѣлый вѣкъ любиться
Съ *немилою* голубкой долженъ князь?..
По моему, сама *подговорилась* (?):
Князь молодъ и горячъ, красавецъ *безотказный*(?).

и т. д.

Не говоря уже о томъ, что такіе стихи, порой совсѣмъ безъ размѣра (какъ первый), порой съ неправильнымъ размѣромъ (какъ послѣдній) должны быть признаны до-нельзя плохими; нельзя

не замѣтить, что они совсѣмъ лишніе въ драмѣ, что въ нихъ повторяется, Богъ знаетъ зачѣмъ, пересказъ событій драмы, изложенныхъ въ первыхъ ея сценахъ. Неизвѣстно откуда и неизвѣстно для чего выскочившій «любимецъ Князя» болтаетъ совершенно зря вздоръ. Разговоръ охотниковъ заканчивается такимъ образомъ:

ДРУГОЙ ОХОТНИКЪ.

Идти хоть на рѣку купаться; сонъ
Такъ и томитъ... *Водицей освѣжиться...*

ЛЮБИМЕЦЪ КНЯЗЯ.

И то пойдемъ... Чу! Съ нами крестъ Господень!..
Какъ страшно каркаетъ проклятый воронъ,
Не доброе пророчитъ злой вѣщунъ.
Къ рѣкѣ! Скорѣй къ рѣкѣ! Глядите, братцы!
Сказать, малютка вышла изъ воды
И манитъ насъ рученкою своею.
Чего робѣть! Почти что развсвѣло.
Ужели намъ ребенка *испужаться?!...*

И этотъ плохой разговоръ, съ неточнымъ и немыслимымъ въ устахъ простого человѣка выраженіемъ «Съ нами крестъ Господень» вмѣсто: «съ нами крестная сила», съ пошлостями въ родѣ «водицей освѣжиться», «сказать, малютка вышла изъ воды»—этотъ разговоръ Пушкинъ, по увѣренію Зуева, не только могъ сочинить, но даже могъ признать однимъ изъ «лучшихъ мѣстъ» драмы! Нѣтъ, какъ хотите, это ужъ слишкомъ, это полное неуваженіе къ памяти великаго поэ-

та — приписывать ему подобную стихотворную дребедень и подобныя невѣжественныя мнѣнія.

Въ послѣдней сценѣ опять-таки безпрестанно встрѣчаются неточныя, пошлыя и неумѣстныя выраженія. Мамка Княгини говоритъ: «*промыкался охотой* не впервыя», вмѣсто: промѣшкался на охотѣ, «*спокойся*», вмѣсто успокойся, «*помыслимъ*», разгадаемъ; наконецъ, заключаетъ пьесу такими стихами:

Умерла.
Въ сонмъ ангеловъ прими ея, Всевышній!

Пушкинъ могъ бы вложить такія слова въ уста патріарху, монаху, вообще духовному лицу; но, я полагаю, даже и Кукольникъ не заставилъ бы такъ торжественно выражаться старуху-мамку и для него такая фраза показалась бы фальшивой и неумѣстной.

Сонъ, который разсказываетъ Княгиня Мамкѣ въ послѣдней сценѣ, выдуманъ также очень плохо и вычурно.

Мнѣ снилося: я золото считала,
Низала жемчугъ, въ яхонты рядилась
Кровавые, блестящіе, *большіе*...
И дѣвичій вѣнокъ *булавкой черной*
Надъ русою косою приколола.
Изъ водныхъ струй сотканною фатой
Покрылась я, *блистая красотой*,
Съ улыбкою въ храмъ Божій я вступила,
Хоръ пѣвчихъ «со святыми упокой!»
Пропѣлъ и мнѣ, и князю. Въ ноги намъ
Не аксамитъ, а зеркало, *какъ ледъ*
Холодное, постлали предъ налоемъ и т. д.

Не стоитъ выписывать конецъ, потому что уже и изъ приведенныхъ стиховъ видна фальшь и антихудожественность и общей картины, и подробностей. Эпитетъ «кровавые» яхонты слишкомъ кричащій эпитетъ, а «большіе» — совершенно лишній, вставленный, очевидно, для добавленія стиха. Что за булавка такая «черная»? Выраженіе «блистая красотой» — банальность. «Хоръ пѣвчихъ» — отзывается современностью и не идетъ къ складу народной легенды, такъ превосходно выдержанному въ Пушкинскихъ сценахъ пьесы. Постилка зеркала на полъ да еще зеркала «холоднаго, какъ ледъ»,—это ужъ совершенная безвкусица въ поэтическомъ смыслѣ. И такой-то плохо выдуманный, такой искусственно, но неискусно сочиненный сонъ Пушкинъ, покорный мнѣнію «отрока» г. Зуева, призналъ тоже «лучшимъ мѣстомъ» своей чудной драмы, на ряду съ разговоромъ охотниковъ и съ пѣсней русалокъ о соловьяхъ, привѣтствующихъ утро!

Я прослѣдилъ почти всѣ стихи «окончанія» «Русалки», указалъ въ нихъ всѣ недочеты, прямо бросающіеся въ глаза при чтеніи. Можетъ быть читателямъ показалась немного скучной эта переборка плохихъ стиховъ. Но какъ быть: вѣдь этимъ стоило заняться, вѣдь тутъ дѣло идетъ о томъ, чтобы разоблачить вздоръ, навязываемый съ такою увѣренностью Пушкину. Никому невѣдомый г. Зуевъ является съ явной литературной поддѣлкой и его поддерживаетъ почтенный г. Бартеневъ, хорошо знакомый съ литературой, съ Пушкинской эпо-

хой, написавшій прекрасный этюдъ о жизни Пушкина въ Бессарабіи. Если г. Бартеневъ повѣрилъ, что жалкія сцены, написанныя плохими стихами и лишенныя всякаго драматизма, принадлежатъ перу Пушкина, то что же остается простымъ читателямъ, особенно при господствующемъ теперь маломъ эстетическомъ развитіи читающаго большинства? Того гляди, сейчасъ же найдутся издатели, которые введутъ Зуевское окончаніе «Русалки» въ собраніе сочиненій Пушкина, и пойдетъ гулять эта грубая поддѣлка за подлинное произведеніе великаго поэта.

Но если сцены, «записанныя» г. Зуевымъ, не Пушкинымъ сочинены, то невольно является вопросъ: кѣмъ же состряпаны онѣ? На этотъ вопросъ, конечно, можетъ отвѣтить г. Зуевъ, если только «чудесная память» этого «маститаго старца» до сихъ поръ сохраняетъ свои качества и воспоминанія его отрочества не путаются въ туманѣ далекаго прошлаго.

В. Буренинъ.

XVI.

Дневникъ журналиста.

(«Русское Богатство», 1897 г., № 3).

Пушкинская „Русалка“.

I.

Въ «Русскомъ Архивѣ», историческомъ журналѣ, издаваемомъ въ Москвѣ П. И. Бартеневымъ, въ послѣдней книжкѣ (1897 г., № 3), напечатано окончаніе драмы Пушкина «Русалка», всего 230 новыхъ стиховъ[1]) въ прибавленіе къ 552 (?) прежде печатавшимся. «Русалка» Пушкина нашими библіографами считалась произведеніемъ неконченнымъ. Нѣсколько скептическихъ и насмѣшливыхъ замѣтокъ, брошенныхъ мимоходомъ въ газетахъ,—вотъ все, чѣмъ до сихъ поръ отозвалась наша журналистика на появленіе въ «Русскомъ Архивѣ» конца одного изъ лучшихъ твореній Пушкина. «Сомнѣнія, писалъ Бокль,

[1]) Г. Бартеневъ считаетъ 237 новыхъ стиховъ. Мы подсчитали на девять меньше. Разница зависитъ отъ счета полустиховъ въ смежныхъ репликахъ. — Г. Южаковъ тоже счелъ невѣрно: всѣхъ новыхъ стиховъ 228. *А. С—нъ.*

ведутъ къ изслѣдованію, изслѣдованіе — къ истинѣ». На этомъ основаніи знаменитый англійскій историкъ придавалъ громадное значеніе скептицизму въ наукѣ и литературѣ, по справедливости считая его могучимъ двигателемъ умственнаго прогреса. Однако это правда только относительно того скептицизма, который «ведетъ къ изслѣдованію», а не ограничивается сомнѣніемъ безъ изслѣдованія, отрицаніемъ изъ одной робости, какъ бы не ошибиться и не сдѣлать промаха. Мужественный скептицизмъ, ополчающійся съ своими сомнѣніями противъ общепризнанныхъ мнѣній и авторитетовъ, дѣйствительно ведетъ къ истинѣ, но съ нимъ не должно смѣшивать боязливаго скептицизма, робѣющаго признать новое и еще авторитетами не признанное явленіе. Упомянутыя газетныя замѣтки, конечно, не принадлежатъ къ скептицизму перваго рода и никакими изслѣдованіями для выясненія сомнѣній не задаются. Разумѣется, не всякое новое явленіе заслуживаетъ изслѣдованія. Очевидность не требуетъ ни изысканій, ни доказательствъ. Фальсификація напечатаннаго г. Бартеневымъ конца «Русалки» не принадлежитъ ли именно къ этой категоріи очевидностей, не подлежащихъ провѣркѣ, не требующихъ изслѣдованія, не нуждающихся въ доказательствахъ? Мнѣ кажется, что нѣтъ. Остановимся нѣсколько на этомъ предварительномъ вопросѣ.

(Авторъ приводитъ существенное изъ предисловія г. Бартенева (см. стр. 40) и останавливается на вопросѣ, поддѣлка это или нѣтъ).

Гг. Чичеринъ и Бартеневъ, безъ всякаго сомнѣнія, не могли принимать никакого участія въ какой бы то ни было поддѣлкѣ. Они могли быть только жертвою обмана. Но съ другой стороны именно они, по роду своихъ прошлыхъ и долголѣтнихъ трудовъ, лучше другихъ вооружены противъ всякаго обмана на почвѣ поддѣлки и фальсификаціи старыхъ укописей. Г. Чичеринъ — опытный ученый историкъ и юристъ, хорошо знакомый съ методомъ исторической критики. Г. Бартеневъ долголѣтній издатель археологическаго и историческаго журнала, много потрудившійся около старыхъ рукописей. Ни тотъ, ни другой не могли бы принять рукописи девятидесятыхъ годовъ за рукопись тридцатыхъ. А между тѣмъ предполагать, что г. Зуевъ поддѣлалъ окончаніе драмы Пушкина въ тридцатые годы и затѣмъ шестьдесятъ лѣтъ ее хранилъ отъ нескромныхъ взоровъ—было бы явнымъ абсурдомъ. Онъ могъ лучше или хуже воспроизвести по памяти прослушанное произведеніе Пушкина. Онъ могъ его воспроизвести очень плохо. Но если рукопись дѣйствительно можетъ быть отнесена приблизительно къ тридцатымъ годамъ, то она не вымыселъ г. Зуева и къ ней Пушкинъ болѣе или менѣе причастенъ. Въ такомъ случаѣ, даже при наихудшихъ обстоятельствахъ, она всетаки даетъ намъ законченное развитіе сюжета «Русалки» и можетъ дополнить наше представленіе объ идеѣ драмы.

Весь вопросъ, слѣдовательно, сначала въ томъ, носитъ ли рукопись слѣды своего стариннаго происхожденія. Полагаясь на опытность гг. Чичерина и Бартенева, мы склонны имъ въ этомъ отношеніи довѣриться, но не можемъ не выразить сожалѣнія, что г. Бартеневъ не сопроводилъ обнародованіе текста рукописи г. Зуева ея подробнымъ критическимъ описаніемъ и представленіемъ ея въ одно изъ національныхъ книгохранилищъ. Во всякомъ случаѣ желательно исправить этотъ промахъ и, предоставивъ рукопись всесторонней палеографической, историко-литературной и библіографической критикѣ, дать исходъ законному скептицизму, дозволить сомнѣнію перейти въ изслѣдованіе, изслѣдованію—въ истину.

Интересно намѣтить нѣсколько вопросовъ, связанныхъ съ этою критикою рукописи, безъ чего невозможно окончательное установленіе правильнаго отношенія историковъ литературы и читателей къ обнародованному произведенію, по своему запросу требующему всяческаго вниманія и осторожнаго обращенія.

Прежде всего бумага. Я еще помню бумагу пятидесятыхъ годовъ. Она сильно отличалась отъ нынѣшней. Она была плотнѣе, сѣрѣе, шероховатѣе. Помнится, она всегда носила въ лѣвомъ углу сверху какія-то клейма едва ли даже не съ годомъ выпуска ея въ продажу. Такой бумаги теперь не достать, а въ то время—нашей современной бумаги. Химическій составъ тоже

измѣнился. Опытный экспертъ безъ труда опредѣлитъ приблизительное время производства бумаги. Далѣе, чернила. Тогда писали эссенціей чернильныхъ орѣшковъ, теперь—анилиномъ, ализариномъ и т. д. Тогда писали гусиными перьями, теперь—стальными, отъ чего характеръ письма значительно измѣнился. Все это необходимо обслѣдовать и сообщить публикѣ, которая только послѣ этого вполнѣ сознательно повѣритъ возрасту рукописи, съ чѣмъ, какъ мы видѣли, тѣсно связанъ вопросъ о возможности или невѣроятности поддѣлки... Наконецъ, въ высшей степени важно опредѣлить, одною ли рукою и одновременно ли написана вся рукопись? Нѣтъ ли на ней отмѣтокъ, если не самого Пушкина, то хотя бы Губера?

Послѣ этого палеографическаго обзора рукописи необходимо ея литературное описаніе. Въ черновой рукописи, съ которой напечатана драма, находится пять сценъ и начало шестой, всего 552 стиха. «Русскій Архивъ» къ нимъ прибавляетъ, по рукописи г. Зуева, еще 230. Мало вѣроятно, чтобы, вернувшись отъ Губера, г. Зуевъ началъ свою запись непремѣнно съ 553-го стиха, предчувствуя какъ бы, что именно съ этого стиха будетъ утрачено окончаніе драмы! Для этого надо было пропустить не только всѣ пять первыхъ сценъ, но и 17 стиховъ шестой, начало діалога между Княземъ и Русалочкой, продолженіемъ котораго и являются дальнѣйшія строки 6-й сцены... Вѣроятнѣе всего, что запись, сдѣ-

ланная г. Зуевымъ немедленно по возвращеніи отъ Губера, въ ноябрѣ 1836 года, начиналась или раньше, или позже восемнадцатаго стиха шестой сцены. Это слѣдовало бы указать при обнародованіи теперь рукописи, потому что это можетъ имѣть очень большое значеніе для критики вновь обнародованнаго текста.

Почему г. Зуевъ не записалъ первыхъ пяти сценъ и записалъ четыре послѣднихъ?—спрашивали авторы газетныхъ замѣтокъ. Тѣ, кто много помнили наизусть большихъ стихотвореній, знаютъ, что прежде всего запоминаются начало и конецъ, которые и дольше сохраняются въ памяти, когда середина уже выцвѣла. Начало «Русалки» развивается сперва очень осторожно и не могло особенно поразить четырнадцатилѣтняго мальчика. Конецъ же, если бы былъ у Пушкина такъ же выдержанъ, какъ первыя пять сценъ, долженъ былъ представляться самымъ поразительнымъ и захватывающимъ. Эти мнемоническія и литературныя соображенія дозволяютъ довѣрить показанію, что г. Зуевъ, выслушавъ «Русалку», запомнилъ и воспроизвелъ именно четыре послѣднихъ сцены (составляющія вмѣстѣ два цѣльныхъ, законченныхъ въ себѣ, акта трагедіи). Это вѣроятно, но, какъ уже сказано, невѣроятно, чтобы при этомъ онъ началъ запись съ восемнадцатаго стиха. Или выше, или ниже.

Если выше, то по крайней мѣрѣ и первые семнадцать стиховъ шестой сцены. Въ такомъ слу-

чаѣ, напечатаніе этой *неисправленной* записи[1]) en regard съ текстомъ по рукописи Пушкина было бы очень желательно. Это показало бы степень близости записи г. Зуева тексту Пушкина.

Я склоненъ однако думать, что г. Зуевъ началъ свою *первоначальную* запись не раньше восемнадцатаго стиха шестой сцены, а позже. Вѣроятнѣе всего, начиная съ сорокъ второго, по нумераціи «Русскаго Архива» съ сорокъ четвертаго, стиха (и ниже во всѣхъ ссылкахъ въ текстѣ я слѣдую своей исправленной нумераціи, отмѣчая въ примѣчаніяхъ и нумерацію г. Бартенева для тѣхъ, кто пожелалъ бы провѣрить мои ссылки: у г. Бартенева нумерація проставлена на поляхъ), гдѣ стихъ сразу крѣпнетъ и становится достойнымъ своихъ собратьевъ первыхъ пяти сценъ. Что касается двадцати четырехъ стиховъ, связывающихъ семнадцатый стихъ съ сорокъ вторымъ, то здѣсь, повидимому, очень много переврано и искажено. Признать ихъ Пушкинскими я не рѣшился бы. Возможно, что, по напечатаніи въ «Современникѣ» начала «Русалки», г. Зуевъ постарался припомнить мѣсто, отдѣляющее послѣдній стихъ печатнаго текста отъ перваго стиха его записи. Естественно, если эти 24 стиха припомнены хуже. Мнѣ думается,

[1]) Г. Зуевъ могъ позже исправить эти стихи по печатному тексту, но вѣроятно не трудно, хотя отчасти, возстановить первоначальную запись, особенно съ его помощью.

что и дальше г. Зуевымъ не все было записано въ ноябрѣ 1836 года, а только мѣста, наиболѣе его поразившія. Естественно, если впослѣдствіи онъ пожелалъ заполнить пропуски и возстановилъ ихъ по памяти. Естественно также, если это воспроизведеніе далеко не такъ удалось. Тогда понятно, почему все окончаніе «Русалки» носитъ пестрый характеръ, смѣсь совершенно слабыхъ мѣстъ съ высоко художественными, смѣсь невозможныхъ стиховъ со стихами, достойными лучшихъ произведеній Пушкина. Ниже я постараюсь оправдать это мнѣніе. Теперь же я хотѣлъ только наглядно указать, насколько облегчило бы задачу критики текста хорошее и внимательное описаніе самой рукописи. Если, какъ я и склоненъ думать, Пушкинъ не совершенно чуждъ 230 стихамъ «Русалки», нынѣ появившимся въ «Русскомъ Архивѣ», то г. Бартеневъ не долженъ медлить такимъ описаніемъ рукописи г. Зуева, который съ своей стороны поступилъ бы правильно, если бы передалъ ее въ какое-либо національное книгохранилище, Румянцевскій Музей, Публичную Библіотеку, Академію...

Остановившись на неоконченныхъ произведеніяхъ Пушкина и на небрежномъ отношеніи къ его бумагамъ со стороны Бенкендорфа и др., г. Южаковъ ссылается на «Записки А. О. Смирновой» объ окончаніи «Русалки»):

«Пушкинъ 25 и 26 былъ совсѣмъ спокоенъ [1])

[1]) Поединокъ состоялся на зарѣ 27-го января 1837 года.

и читалъ ему (Жуковскому) нѣкоторыя письма. Никто ничего не подозрѣвалъ. 29 собирались обѣдать у Віельгорскаго, товарищескій обѣдъ въ честь дня рожденія Жуковскаго, и Пушкинъ даже объявилъ, что напишетъ къ этому дню оду, тѣмъ болѣе, что къ этому времени появлялась «Ундина», которую Жуковскій изобразилъ соблазнительною русалкой, вмѣсто нѣмецкой «Nixe». Онъ (Пушкинъ) разсказывалъ имъ о своей русалкѣ, виновной въ смерти отшельника (баллада), и *о другой русалкѣ, своей лирической драмѣ, затѣмъ передалъ имъ конецъ драмы.* Въ его поведеніи и внѣшнемъ видѣ не было ничего страннаго, подозрительнаго...» («Сѣв. Вѣстн.» 1897, I, 139). Это мимоходомъ брошенное замѣчаніе, именно какъ мимоходное, не разсчитанное, особенно цѣнно и вполнѣ устанавливаетъ тотъ фактъ, что драма была окончена. Она, стало быть, могла быть прочитана, два мѣсяца назадъ, у Губера... Если критика рукописи подтвердитъ почтенный ея возрастъ или если довѣриться въ этомъ отношеніи опытности гг. Чичерина и Бартенева, то, послѣ всего сказаннаго, остается для законнаго скептицизма только одинъ вопросъ: насколько справилась память г. Зуева съ взятою ею на себя задачею? Я уже говорилъ, что если даже совсѣмъ не справилась, то все же мы получаемъ полное изложеніе сюжета. Но если бы память г. Зуева была совсѣмъ несостоятельна, то у него не было бы (*тогда*, а это долженъ удостовѣрять возрастъ рукописи) побудитель-

ныхъ причинъ воспроизводить прослушанное. Эти апріорныя соображенія дозволяютъ ожидать, что въ обнародованныхъ нынѣ четырехъ послѣднихъ сценахъ «Русалки» Пушкину принадлежитъ не только сюжетъ, но болѣе или менѣе и самый текстъ. Непосредственный анализъ драмы долженъ намъ отвѣтить на эти вопросы.

II.

Всю эту главу, занимающую почти 9 страницъ, я пропускаю, какъ не идущую къ дѣлу. Г. Южаковъ разсказываетъ содержаніе «Русалки» по Пушкину и по г. Зуеву, цитируетъ свою статью изъ «Сѣв. Вѣстника» (1887 г., № 2): «Любовь и счастье въ произведеніяхъ русской поэзіи», относящуюся къ «Русалкѣ» Пушкина, и приводитъ, между прочимъ, хоръ изъ «записи» г. Зуева (стихи 84—109), о которомъ говоритъ слѣдующее:

Я привелъ этотъ хоръ русалокъ, чтобы спросить скептиковъ: — если это хореи не Пушкинскіе, то чьи же? Неужели г. Зуева? Я думаю, что Пушкинскіе, какъ и выше цитированные діалоги и монологи (онъ цитируетъ, кромѣ хора, «діалоги и монологи» по «записи» настоящаго изданія ст. 25—45, 51—52, 60—83), хотя въ нихъ можно скорѣе ожидать нѣкоторыхъ неточностей. Пятистопные нериѳмованные ямбы запоминаются гораздо труднѣе этихъ звучныхъ богато риѳмованныхъ хореевъ.

Авторъ оканчиваетъ пересказъ содержанія «записи».

III.

Г. Бартеневъ, въ примѣчаніяхъ къ напечатанному имъ полному тексту «Русалки», между прочимъ, самъ сознаетъ многія несовершенства впервые появляющихся сценъ. Онъ пробуетъ такъ парировать это обстоятельство («Рус. Арх.», 1897, № 3, стр. 371): «При всемъ художественномъ совершенствѣ своемъ, «Русалка» и въ тѣхъ сценахъ, которыя вошли въ собраніе сочиненій А. С. Пушкина, и въ окончаніи, нынѣ появляющемся благодаря счастливой памяти Д. И. Зуева, есть произведеніе посмертное, не вполнѣ приготовленное къ печати. Читатели знаютъ, напр., что первые два стиха шестой сцены суть повтореніе стиховъ въ сценѣ четвертой, чего Пушкинъ не допустилъ бы въ окончательной отдѣлкѣ». Можетъ быть не допустилъ бы, но можетъ быть и допустилъ бы. Допустимъ, однако, что нѣтъ. Прибавимъ къ этому всѣ слабые и необработанные стихи прежде извѣстнаго текста. Я уже указалъ на прозаическое повтореніе словъ «печальныя, печальныя» (стихъ 10, сцена VI) и на четырехстопный ямбъ вмѣсто пятистопнаго (стихъ 41 [1]), сцена V). Такой же четырехстопный ямбъ встрѣчается еще въ одномъ мѣстѣ: «*Змѣей, змѣею онъ меня,* Не жемчугомъ опуталъ...» (стихъ 245,

[1]) Этотъ стихъ «Я каждый день о мщеньи помышляю»— пятистопный, а не четырехстопный. *А. С—нъ.*

сцена I). Невѣрное удареніе находимъ въ стихѣ «Пригоршню раковинокъ самоцвѣтныхъ» (стихъ 17, сцена V). Не изященъ стихъ «Какъ дождь посыпалися на меня» (стихъ 34, сцена IV). Наконецъ, вполнѣ правиленъ, но не производитъ впечатлѣніе стиха: «Сталъ (остановился) жорновъ... Видно, умеръ и старикъ» (стихъ 23, сцена IV). Вотъ и все, при самой придирчивой строгости. Считая и два отмѣченныхъ г. Бартеневымъ, всего *восемь* стиховъ изъ *пятисотъ пятидесяти двухъ!*[1]). Всѣ, притомъ же, безъ затрудненія могутъ быть исправлены, даже не Пушкинымъ. Если бы погрѣшности вновь появившихся 230 стиховъ были даже вдвое, втрое многочисленнѣе, мы бы охотно даже не говорили о нихъ или же говорили бы, чтобы признать ихъ недоказательность, какъ возраженіе противъ полной точности воспроизведенія драмы г. Зуевымъ. Къ сожалѣнію, дѣло обстоитъ гораздо хуже. Приходится не отдѣльные неудачные стихи вылавливать, а сомнѣваться въ цѣлыхъ длинныхъ тирадахъ, въ совокупности составляющихъ около половины всего вновь напечатаннаго текста. Нами выше процитировано 113 стиховъ, которые мы склонны признать Пушкинскими (быть можетъ съ нѣкоторыми ошибками и неточностями). Изъ остальныхъ 117 стиховъ едва можно набрать десятка три, о которыхъ можно сказать отчасти

[1]) 496 стиховъ. Г. Бартеневъ считалъ неправильно и стихи Пушкинской «Русалки». *А. С—нъ.*

*

то же. Приведемъ нѣкоторыя данныя, подтверждающія высказываемое нами мнѣніе.

Выше мы привели конецъ рѣчи Русалочки, разсказывающей Князю о своемъ рожденіи и своемъ родствѣ съ нимъ. Приведемъ теперь начало той же рѣчи. На вопросъ Князя: «Но кто же ты?»

РУСАЛОЧКА.

Не знаешь? Дочь твоя,
Русалочка. Припомни, говорила,
Прощаясь, мать: «Нельзя, чтобы на вѣкъ
«Разстались вы; что шутку шутишь; что
«Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся...»
— Ахъ, въ кустикѣ тамъ птенчикъ встрепенулся!

Эта рубленая проза едва ли можетъ быть признана Пушкинскими стихами, и сбивчивость изложенія поражаетъ еще больше... И причемъ тутъ птенчикъ? У Пушкина, можетъ быть, это и имѣло смыслъ, въ воспроизведеніи г. Зуева— никакого! И послѣ этихъ виршей:

Но кинулъ ты, уѣхалъ, и она
Въ Днѣпръ бросилась, русалкой вольной стала,
Въ Днѣпрѣ меня, малютку, родила,
Сребристою волною спеленала,
Русалочкой, княжною назвала
И за тебя любила и ласкала.

Я повторяю эти шесть стиховъ для наглядности [1]). И не правъ ли я, когда думаю, что перво-

[1]) Стихи риѳмованные, что какъ бы нарушаетъ характеръ стиха. Однако, такія риѳмованныя мѣста можно

начальная запись г. Зуева начиналась именно съ перваго стиха послѣдней цитаты (42 стихъ VI сцены [1])? А предъидущіе 24 стиха (всѣ въ родѣ цитированныхъ шести) вѣроятно позже возстановлены по памяти, для связи съ печатнымъ текстомъ.

Двадцать одинъ стихъ, начинающіеся сорокъ вторымъ, вѣроятно, записаны въ ноябрѣ 1836 года, непосредственно послѣ выслушанія драмы. Далѣе, опять какой-то lapsus. Когда сумасшедшій Мельникъ бросается на Князя, Русалочка зоветъ мать:

Мама, мама! Злой дѣдка обижаетъ.
Скорѣе, мама, помоги!..

найти и въ «Борисѣ Годуновѣ», тамъ, гдѣ рѣчь пріобрѣтаетъ особенное одушевленіе:

Тѣнь Грознаго меня усыновила,
Наслѣдникомъ изъ гроба нарекла,
Вокругъ меня народы *ополчила*
И въ жертву мнѣ Бориса обрекла.

(Очевидно, г. Южаковъ цитировалъ по памяти, но память ему измѣнила въ двухъ мѣстахъ: вмѣсто *наслѣдникомъ* слѣдуетъ *Димитріемъ* и вмѣсто *ополчила*—возмутила. *А. С—нъ*).

Съ другой стороны, помня, что разбираемые стихи записаны по памяти, можно думать, что риѳмы явились уже у г. Зуева, для чего стоило только переставить въ двухъ мѣстахъ по одному слову. Могло у Пушкина читаться:

Въ Днѣпръ бросилась, русалкой стала вольной
.
И за тебя ласкала и любила.

Достоинство стиха ничего не теряетъ, а риѳмы исчезаютъ.

[1]) Г. Южаковъ ведетъ свой счетъ стихамъ въ 6-й сценѣ: 42-й стихъ VI сцены соотвѣтствуетъ 44-му у г. Бартенева («Покинулъ ты, уѣхалъ и она»), въ нашемъ изданіи стиху 25-му. *А. С—нъ.*

Какимъ это стихомъ написано? Первыя двѣ стопы хореи, три послѣднихъ—ямбы! Или надо читать «мамà, мамà»? Не говоря о невозможности такого чтенія, оно не спасаетъ, потому что какофонія была бы только перенесена изъ перваго во второй стихъ... Нѣсколько дальше героиня такъ обращается къ отцу:

Прочь съ глазъ, продавецъ дочери проклятый!

Сомнѣваюсь, чтобы у Пушкина это мѣсто было такъ грубо изложено, да и по ходу дѣла этого не требуется. Къ тому же, по-русски говорятъ «продавèцъ», а не «продàвецъ», какъ здѣсь приходится читать. Въ словѣ «христопродàвецъ» удареніе переносится ради длины. Поэтому — «дочепродáвецъ», но «продавèцъ дочери»... Все это коротенькое мѣсто, связывающее предыдущіе признаваемые нами 21 стихъ съ послѣдующимъ монологомъ героини, не только очень слабо, но прямо невозможно (не въ черновомъ наброскѣ). Полагаю, что и въ этомъ случаѣ монологъ героини могъ быть записанъ въ ноябрѣ 1836 года подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ чтенія, а связь съ предыдущею записью могла быть возстановлена позднѣе по памяти. Не только безобразные стихи, несвойственная драмѣ грубость тона, сбивчивость изложенія склоняютъ къ этому, но, напр., и совершенное базмолвіе Князя при этой роковой и желанной встрѣчѣ, даже отсутствіе ремарокъ по его адресу. Наконецъ, почему это оказывается *седьмая* сцена, когда все дѣй-

ствіе есть прямое непрерывное продолженіе шестой сцены (и на томъ же мѣстѣ)? Вѣроятно, въ Пушкинскомъ изложеніи были основанія для отдѣленія двухъ сценъ, шестой и седьмой, но въ воспроизведеніи г. Зуева эти основанія исчезли. Остальные 34 стиха седьмой сцены мы склонны признать Пушкинскими, но предполагаемъ, что въ воспроизведеніи вкрались неточности, въ стихахъ же отъ 8-го до 16-го, по всей вѣроятности,— даже существенныя неточности [1]).

Я уже упомянулъ, что въ заключеніе этой сцены (которую нельзя не считать и заключеніемъ четвертаго, важнѣйшаго акта трагедіи) чувствуется необходимость монолога Князя, бросающагося въ Днѣпръ. Трудно утверждать, пропускъ ли это г. Зуева или монолога и не было вовсе? Его могли замѣнить реплики Князя въ началѣ седьмой сцены, началѣ, которое, кажется, приходится признать сильно искаженнымъ въ передачѣ г. Зуева.

Восьмая сцена открывается (какъ и четвертая) хоромъ русалокъ. Эти двадцать шесть стиховъ надо признать Пушкинскими. Мы уже отмѣтили ихъ связь съ хоромъ въ IV сценѣ, откуда перенесенъ стихъ, а тамъ исключенъ. Хотя и тамъ онъ былъ умѣстенъ и красивъ, но здѣсь умѣстнѣе. Безъ этого перенесенія упомянутаго стиха въ хоръ восьмой сцены Пушкинъ не имѣлъ

[1]) Въ седьмой сценѣ наша нумерація совпадаетъ съ нумераціей г. Бартенева.

основанія исключать его изъ хора четвертой сцены. Отмѣтимъ еще, что оба хора, написанные совершенно одинаковыми хореями, оба начинаются четырьмя стихами двухстопнаго амфибрахія. Независимо отъ прелести стиха въ хорѣ русалокъ VIII сцены и эти маленькія сближенія даютъ намъ лишнее основаніе для довѣрія.

Восьмая сцена заключаетъ въ себѣ девяносто восемь стиховъ. Мы признали только что двадцать шесть. Выше, въ предыдущемъ параграфѣ [1]), мы сверхъ того цитировали семь стиховъ изъ реплики Ловчаго, да девять стиховъ [2]) рѣчи Русалочки, всего 42 стиха. Что сказать объ остальныхъ 56-ти?

Почитаемъ:

Я побѣжалъ на слухъ, но никого
Не видѣлъ. Знать, то лѣшій хороводилъ
Съ русалками. Ихъ часъ теперь какъ разъ
Передъ разсвѣтомъ тѣшиться гулянкой.

[1]) Я выпустилъ эти двѣ цитаты г. Южакова. Въ нашемъ изданіи цитаты эти соотвѣтствуютъ стихамъ 122—128 и 159—167. Приэтомъ въ стихѣ 122 онъ измѣняетъ слово «сказки» на «скажи». *А. С—нъ.*

[2]) Въ текстѣ г. Зуева фигурируетъ это лицо подъ именемъ то старшаго охотника, то любимца Князя, но въ третьей и четвертой сценахъ, очевидно, то же самое лицо называется Ловчимъ. Поэтому и мы его всюду такъ и называемъ. Старшій охотникъ и есть, конечно, ловчій, а о томъ, что онъ любимецъ Князя, довольно ремарки при его выступленіи.

Или:

Что падаешь? Споткнулся? Это что?
Трупъ мельника!.. Ну, отъ часу не легче!
Скорѣй домой, чтобъ съ нами не стряслася
Бѣда. Скорѣй къ княгинѣ поспѣшимъ.

Размѣръ соблюденъ, но если это стихи, то что же назвать рубленой прозой? Нѣкоторые стихи попадаются лучше и поэтичнѣе, напримѣръ съ 57 по 61 (съ явною ошибкою въ 59) [1]). Г. Зуевъ, должно быть, добросовѣстно припоминалъ, но не все могъ припомнить. Большое спасибо и за то, все-таки немалое, что ему удалось припомнить удовлетворительно.

Изъ коротенькой девятой сцены (всего 47 стиховъ) [2]) я выше привелъ *Сонъ Княгини*, одинъ изъ шедевровъ всей драмы. Изложеніе сна занимаетъ 23 стиха. Остальные не безъ дефектовъ [3]), но, вообще, сносны и терпимы.

Сводя эти замѣтки, мы склонны въ концѣ концовъ признать Пушкинскими или близкими Пушкинскому подлиннику слѣдующіе стихи (изъ вновь появившихся въ «Русскомъ Архивѣ» по воспоминаніямъ г. Зуева), именно:

[1]) По нумераціи г. Бартенева, отъ 59 до 63 (въ нашемъ изданіи 140—144). Испорченный стихъ 61-й (въ нашемъ изданіи — 141). Первое слово «какъ» слѣдовало бы, кажется, замѣнить словомъ «то».

[2]) У г. Бартенева сорокъ восемь.

[3]) Г. Южаковъ привелъ только первые 6 стиховъ этого сна. Въ нашемъ изданіи стихи 199—221. *А. С—нъ.*

VI	сцена,	съ	42	стиха	по	62	=	21	стихъ[1]).	
VII	»	»	7 (?)	»	»	40	=	34 (?)	»	
VIII	»	»	1	»	»	26	=	26	»	
—	»	»	39	»	»	45	=	7	»	
—	»	»	57	»	»	61	=	5	»	
—	»	»	76	»	»	84	=	9	»	
IX	»	»	1	»	»	47	=	47	»	
						S	=	149 (?)		

Итого, при снисходительномъ отношеніи—сто сорокъ девять стиховъ, при строгомъ—сто тринадцать (какъ выше подсчитано),—вотъ что съ нѣкоторыми основаніями можетъ быть отнесено къ Пушкину. Насколько эти стихи являются болѣе или менѣе *удачнымъ* припоминаніемъ, настолько остальные (отъ 81 до 117, смотря по строгости оцѣнки) представляются такими же припоминаніями, но только *неудачными*. Они сохраняютъ значеніе для изложенія сюжета и, при изданіи, могли бы даже пересказываться прозою.

Дефекты стиховъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ нихъ, при критикѣ новаго текста, могутъ служить не только для исключенія тѣхъ или другихъ мѣстъ изъ числа Пушкинскихъ, но и для подтвержденія подлинности хорошихъ стиховъ. Если допустить, что г. Зуевъ вымыслилъ самъ окончаніе и теперь выдаетъ за Пушкинское, то присутствіе въ текстѣ свыше сотни образцовыхъ стиховъ обнаружило бы въ немъ,

[1]) По нашему изданію: 25—45, 51—83, 84—109, 122—128, 140—144, 159—167 и 182—228. *А. С—нъ.*

по крайней мѣрѣ, хорошаго версификатора, хорошо знакомаго съ техникою стихослагательства. Онъ могъ сложить при этомъ очень прозаическіе стихи, но онъ не могъ бы предложить вмѣсто стиховъ совсѣмъ не стихи. Я уже приводилъ одинъ такой не-стихъ «мама, мама, злой дѣдка обижаетъ». Другой такой не-стихъ: «Сказки! Непраздною... Погибла... Важность!» Выше я его привелъ такъ: «Скажи! Непраздною... и т. д.», потому что нельзя читать «сказки». Но г. Зуевъ свято воспроизвелъ, какъ запомнилъ. Или этотъ стихъ: «Сказать, малютка вышла изъ воды» (сцена VIII, стихъ 72) [1]), совершенная безсмыслица. Я уже указывалъ на стихъ 60, сцена VI [2]), гдѣ надо читать *княжія* съ удареніемъ на *і*. Стихъ 36 и 37 шестой сцены [3]) напечатаны такъ:

Не знаешь? Дочь твоя,
Русалочка. Припомни, говорила и т. д.

То есть тридцать шестой стихъ оказывается трехстопнымъ, потому что онъ напечатанъ, какъ самостоятельный. Выше я его привелъ такъ:

Не знаешь? Дочь твоя,
Русалочка. Припомни, говорила и т. д.

Соединяя первую строчку съ вопросомъ Князя «но кто же ты?», получаемъ всѣ пять стопъ. Г. Зуевъ и этого не сумѣлъ. Совершенно такое же неумѣніе расположить стихи (вѣрнѣе, полустихи)

[1]) У г. Бартенева—74-й. Въ нашемъ изд. 155.
[2]) У г. Бартенева—64-й. Въ нашемъ изд. 43.
[3]) У г. Бартенева—37 и 38. Въ нашемъ изд. 19—20.

встрѣчаемъ и въ другихъ мѣстахъ. Есть даже стихъ, состоящій изъ одного «ну?» (VIII-я сцена, между стихами 34 и 35 [1]).

Можно было бы значительно умножить эти примѣры, доказывающіе, что г. Зуевъ старался припомнить, а не стихи сочинять. Припомнилъ онъ не всегда ладно, но какъ припомнилось, такъ и напечатали теперь, даже съ явными несообразностями. Именно эти контрасты стиховъ, исполненныхъ замѣчательнаго техническаго совершенства, со строками, которые и за стихи, хотя бы плохіе, признать невозможно, и являются въ моихъ глазахъ новымъ доводомъ, чтобы не считать предложенный г. Зуевымъ текстъ вымышленнымъ, и чтобы признать его воспроизведеніемъ Пушкинскаго текста по памяти, которая многое отлично сохранила, въ другихъ случаяхъ болѣе или менѣе измѣнила г. Зуеву [2]).

Мнѣ кажется, это и есть тотъ выводъ, который должно сдѣлать изъ обзора напечатаннаго въ «Русскомъ Архивѣ» полнаго текста «Русалки»

[1]) Эти замѣчанія г. Южакова могутъ относиться не къ г. Зуеву, а къ г. Бартеневу или просто къ небрежному печатанію. «Ну» г. Бартеневъ счелъ за стихъ, а у г. Зуева это «ну» окончаніе предыдущаго стиха, который безъ этого «ну» не вышелъ бы пятистопнымъ. *А. С—нъ.*

[2]) По словамъ г. Морозова, «въ рукописи остался набросокъ программы: «*Мельникъ и его дочь, Свадьба, Княгиня и Мамка, Русалки, Князь, Старикъ и Русалочка, Охотники*». Изъ прежде-извѣстнаго текста въ программѣ пропущена пятая сцена; изъ новаго текста—седьмая и девятая. Зато шестая и восьмая поименованы. Пропускъ въ программѣ пятой сцены показываетъ, что въ этомъ «наброс-

въ связи съ нѣкоторыми историко-литературными и библіографическими данными, выше приведенными, въ первомъ параграфѣ этого «Дневника». Подведемъ итоги.

Только что упомянутыя историко-литературныя и библіографическія данныя устанавливаютъ, что драма «Русалка» была окончена Пушкинымъ, но полный текстъ ея былъ утраченъ или изъятъ изъ бумагъ Пушкина въ промежутокъ времени между печальною кончиною поэта и поступленіемъ его бумагъ въ руки Жуковскаго. Пушкинъ нерѣдко читалъ въ рукописи свои ненапечатанныя произведенія въ средѣ своихъ знакомыхъ. Чтеніе «Русалки» у Губера представляется, стало быть, фактомъ, который нѣтъ основанія оспаривать. Читалась, конечно, драма оконченною. Ее слышалъ Д. П. Зуевъ, и вовсе не нужно какой нибудь изъ ряду выдающейся, феноменальной памяти, чтобы запомнить сразу (въ четырнадцать лѣтъ, вдобавокъ) какую-нибудь сотню стиховъ, особенно поразившихъ воображеніе, а вмѣстѣ съ ними, съ грѣхомъ пополамъ, и другую сотню, составляющую съ ними одно цѣлое. Это и сдѣлалъ г. Зуевъ. Ничего не представляется болѣе естественнымъ, какъ то, что онъ поспѣшилъ записать все, что успѣлъ запомнить. Далекій отъ литературныхъ кружковъ; воспитан-

кѣ» могли быть пропущены также седьмая и девятая. Появленіе же этихъ сценъ въ рукописи г. Зуева показываетъ, что онъ не руководствовался давно уже напечатанной программой, что представляетъ собою новый доводъ противъ поддѣлки.

ный въ то время, когда Пушкинъ считался чуть-чуть не новымъ Робеспьеромъ, а обладаніе ненапечатанными Пушкинскими стихами казалось многимъ чуть не государственнымъ преступленіемъ; живущій въ захолустьи, г. Зуевъ легко могъ сохранить свою драгоцѣнность въ неизвѣстности, но и въ «безопасности». Надо было, чтобы на рукопись натолкнулся г. Чичеринъ. Тогда она была извлечена изъ своей «безопасности» и предъявлена изумленной публикѣ [1]). Опытность гг. Чичерина и Бартенева является гарантіей, что за рукопись тридцатыхъ годовъ намъ не выдаютъ рукопись девятидесятыхъ [2]). При этихъ данныхъ, внимательная критика полнаго текста «Русалки» представляется необходимостью, а насмѣшливый скептицизмъ, безъ такой предварительной критики,—крайнимъ легкомысліемъ [3]). Анализъ самой драмы, какъ

[1]) Ничего подобнаго, какъ извѣстно, не было и всѣ эти соображенія не выдерживаютъ никакой критики. Г. Зуевъ вовсе не жилъ въ захолустьѣ, а въ Петербургѣ и былъ человѣкомъ съ хорошимъ и виднымъ положеніемъ. Г. Южаковъ, очевидно, считаетъ Зуева какимъ-то несчастнымъ маленькимъ человѣчкомъ, не умѣющимъ отличить запрещенное отъ незапрещеннаго и скрывавшимъ «Русалку» въ теченіе 60 лѣтъ въ «безопасности», боясь, что его арестуютъ. По-истинѣ диковинныя соображенія. *А. С—нъ.*

[2]) Оказалось, что именно за рукопись тридцатыхъ годовъ намъ выдаютъ рукопись девятидесятыхъ. Ни одно изъ условій для рукописи, о которыхъ говоритъ г. Южаковъ (стр. 123 и слѣд.), не только не соблюдено, но на нихъ не обращено было никакого вниманія. *А. С—нъ.*

[3]) «Крайнее легкомысліе» оказалось совершенной правдой. *А. С—нъ.*

мнѣ кажется, свидѣтельствуетъ ея происхожденіе отъ Пушкина. Выдержанность идеи, единство содержанія и замѣчательная техника нѣкоторыхъ мѣстъ являются тому доказательствомъ. Слабость техники и какая-то недосказанность изложенія другихъ мѣстъ, показывая, что память г. Зуева ему нерѣдко измѣняла, вмѣстѣ съ тѣмъ подтверждаютъ не измышленіе текста (онъ былъ бы въ такомъ случаѣ равнодостойнѣе), а его возстановленіе по памяти. Повидимому, значительная часть текста, приблизительно около половины (не менѣе ста тринадцати стиховъ и не болѣе ста сорока девяти) воспроизведена очень близко къ Пушкинскому подлиннику. Остальное (не менѣе восьмидесяти одного стиха и не болѣе ста семнадцати), какъ кажется, воспроизведено неудовлетворительно, едва ли можетъ быть признано Пушкинскимъ текстомъ и сохраняетъ значеніе, главнымъ образомъ, какъ изложеніе сюжета. Эти слабовоспроизведенныя мѣста лучше было бы излагать прозою, лишь для связи между прекрасными строфами, за сохраненіе которыхъ русская литература должна быть признательна Д. П. Зуеву. Не иначе, какъ съ такою же признательностью должна русская литература относиться и къ иниціативѣ Б. Н. Чичерина, извлекшаго рукопись изъ ея шестидесятилѣтней неизвѣстности, и къ рѣшимости П. И. Бартенева, помѣстившаго въ своемъ журналѣ найденный фрагментъ и не отступившаго передъ отвѣтственностью шага, который легко можетъ быть истолкованъ, какъ

жестокій промахъ человѣка, лишеннаго вкуса и критической способности. По нашему крайнему убѣжденію, шагъ г. Бартенева отнюдь не промахъ, а крупная заслуга, подарившая русской публикѣ полное знакомство съ идеей и содержаніемъ драмы въ ея цѣломъ, а въ частности чудесныя строфы, истинные шедевры. Можно пожелать только, чтобы напечатаніе текста было дополнено, какъ мы выше уже говорили, подробнымъ описаніемъ рукописи, а если возможно, то и помѣщеніемъ въ какое-нибудь книгохранилище, доступное каждому изслѣдователю.

Возможно, что мы никогда не получимъ другого полнаго текста четырехъ послѣднихъ сценъ «Русалки». Поэтому и должно озаботиться сохраненіемъ и изслѣдованіемъ рукописи г. Зуева. Эти заботы не мѣшаютъ и другимъ заботамъ, именно: найти Пушкинскій подлинникъ. Лѣтъ около десяти тому назадъ въ «Вѣстникѣ Европы» было напечатано стихотвореніе Лермонтова «На смерть Пушкина» по рукописи, сохранившейся при дѣлахъ бывшаго третьяго отдѣленія. Если къ дѣлу о Лермонтовѣ, производившемуся въ 1837 году, была пріобщена рукопись его стихотворенія, признаннаго тогда запретнымъ, то отчего бы къ дѣлу о Пушкинѣ, производившемуся тамъ же въ томъ же 1837 году, не оказались пріобщенными стихотворенія Пушкина, которыя тогда признано было нужнымъ изъять изъ его бумагъ? Если стихотвореніе Лермонтова сохранилось въ дѣлахъ до 1887 года, почему бы

стихотвореніямъ Пушкина не сохраниться до 1897 года? Если оказалось возможнымъ снять копію съ Лермонтовскаго стихотворенія, пріобщеннаго къ дѣламъ, то какое могло бы быть препятствіе къ снятію такихъ же копій съ Пушкинскихъ стихотвореній? Кромѣ окончанія «Русалки», слѣдовало бы поискать окончанія «Галуба», середины «Мѣднаго Всадника», семь вышеперечисленныхъ драмъ Пушкина, извѣстныхъ только по имени, его «Дневникъ», вѣроятно, и многое другое еще... Могутъ оказаться совершенно неожиданные сюрпризы. Въ высшей степени желательно, чтобы къ академическому изданію 1899 года (уже не такъ много времени осталось до этого срока) всѣ эти вопросы были обслѣдованы и такъ или иначе окончательно разрѣшены. Mieux tard que jamais.

С. Южаковъ.

XVII.

Журналистика.

(«Сѣверный Вѣстникъ», мартъ 1897 г.).

„Русскій Архивъ". Окончаніе „Русалки" Пушкина.

. .

. .

Во всѣхъ собраніяхъ сочиненій Пушкина «Русалка» печатается, какъ отрывокъ, заключающій въ себѣ начало этой драматической поэмы, состоящее изъ пяти сценъ и семнадцати стиховъ

шестой сцены. Въ такомъ видѣ поэма была отыскана въ бумагахъ Пушкина послѣ его смерти, и въ началѣ 1837 г. была напечатана въ «Современникѣ». Тогда же укоренилось убѣжденіе, что «Русалка» не была окончена поэтомъ, или же, что ея окончаніе было какимъ-то образомъ утрачено. Послѣднее обстоятельство тѣмъ болѣе вѣроятно, что хотя самъ Пушкинъ держалъ всегда свои бумаги въ большомъ порядкѣ, но по кончинѣ его многіе пожелали сохранить на память его автографы. Къ Жуковскому бумаги Пушкина поступили уже послѣ того, какъ побывали въ рукахъ чиновниковъ III отдѣленія, которые, какъ говоритъ г. Бартеневъ, «особенно поусердствовали вслѣдствіе строгаго выговора, полученнаго графомъ Бенкендорфомъ отъ государя Николая Павловича по поводу Пушкинскаго поединка». Затѣмъ, рукописи, оставшіяся послѣ Пушкина, какъ извѣстно, очутились въ распоряженіи г. Тарасенка-Отрѣшкова, который обращался съ ними довольно безцеремонно. Нѣкоторыя изъ этихъ рукописей находятся понынѣ у г. Онѣгина въ Парижѣ, который почему-то не желаетъ съ ними разстаться и который отказался сообщить ихъ даже Л. Н. Майкову, отыскивающему для академическаго изданія сочиненій Пушкина его подлинныя рукописи. Другія — неизвѣстно гдѣ. Понятно, поэтому, что и полная «Русалка» могла затеряться или гдѣнибудь застрять, если только ея окончаніе было дѣйствительно написано. Однако, относительно

этого послѣдняго обстоятельства и существуетъ сомнѣніе, такъ какъ у насъ нѣтъ никакого фактическаго указанія о томъ, что Пушкинъ окончилъ свою поэму. Только А. О. Смирнова въ своихъ «Запискахъ» («Сѣверный Вѣстникъ», 1897 г., т. I, 139) со словъ Жуковскаго утверждаетъ, что за нѣсколько дней до поединка Пушкинъ разсказывалъ друзьямъ о своей «Русалкѣ» и «затѣмъ передалъ имъ конецъ драмы». Не говоря уже о томъ, что въ этихъ словахъ г-жи Смирновой могла вкрасться какая-нибудь неточность, мы въ нихъ все-таки не видимъ положительнаго указанія на то, что драма была окончена поэтомъ; въ этихъ словахъ говорится только о томъ, что Пушкинъ разсказалъ своимъ друзьямъ конецъ драмы, но былъ ли этотъ конецъ уже написанъ, или же только былъ пока задуманъ — мы не знаемъ.

Во всякомъ случаѣ полной рукописи «Русалки» не оказалось въ бумагахъ Пушкина. Начало поэмы въ оставшейся рукописи не имѣетъ заглавія. Послѣ первой сцены сдѣлана поэтомъ помѣтка, которую Анненковъ указываетъ дважды — въ двухъ видахъ: «12 апрѣля 1832 г.» (т. I, стр. 362) и «27 апрѣля 1832 г.» (т. IV, стр. 465). Замѣчательно, что и самая программа поэмы, набросанная Пушкинымъ, прерывается почти на томъ же, на чемъ прерывается пьеса. Вотъ эта программа: «Мельникъ и его дочь. Свадьба. Княгиня и Мамка. Русалки. Князь. Старикъ и Русалочка. Охотники». Еще замѣчательнѣе другое

обстоятельство, на которое указалъ первый, если не ошибаемся, Анненковъ, а именно, что и самую мысль «Русалки» Пушкинъ могъ заимствовать изъ славянской пѣсни «Янышъ-Королевичъ» («Пѣсни западныхъ славянъ»), которую Пушкинъ перевелъ изъ Мериме [1]). Эта пѣсня въ сжатомъ видѣ передаетъ содержаніе «Русалки» очень близко и въ томъ порядкѣ, въ какомъ это содержаніе является въ «Русалкѣ», и кромѣ того пѣсня прерывается на появленіи русалкиной дочери. Необходимо прибавить, что въ примѣчаніи къ «Янышу-Королевичу» Пушкинъ писалъ: «пѣсня о Янышѣ-Королевичѣ въ подлинникѣ очень длинна и раздѣляется на нѣсколько частей. Я перевелъ первую и ту не всю. Всѣ эти странныя совпаденія невольно заставляютъ призадуматься относительно окончанія «Русалки». Программа, остановившаяся на томъ, на чемъ остановилась «Русалка», переводъ «Яныша», остановившійся на томъ, на чемъ остановилась тоже «Русалка», все это заставляетъ предполагать, что Пушкинъ заинтересовался началомъ сюжета, отысканнаго имъ въ «Янышѣ», и изобразилъ его въ начальныхъ сценахъ «Русалки», но конецъ ему, повидимому, показался неудачнымъ и онъ не докончилъ свою драму. Къ такому заключенію приводятъ извѣстные намъ факты. Къ такому же заключенію, отчасти, приводитъ и разсмотрѣніе записи г. Зуева.

[1]) У Мериме этой пѣсни нѣтъ. *А. С—нъ.*

Зачѣмъ понадобилось г. Зуеву записывать прочитанную Пушкинскую драму? Если эта драма была въ 1832 г. окончена и къ печатанію ея не представлялось никакого затрудненія, то записывать ее г. Зуеву не представилось никакой надобности: онъ и безъ того имѣлъ бы ее въ печатномъ оттискѣ. Затѣмъ, въ печати было уже обращено вниманіе на то, что запись г. Зуева касается только послѣдней части драмы и начинается какъ разъ съ того стиха, которымъ заканчивается автографъ Пушкина. И въ самомъ дѣлѣ, обстоятельство очень странное и можетъ подрывать довѣріе къ подлинности новаго текста: г. Зуевъ словно предвидѣлъ, что подлинный текстъ будетъ утраченъ съ того именно стиха, съ котораго онъ началъ записывать. Съ другой стороны, зачѣмъ г. Зуевъ упрашивалъ Пушкина еще два раза прочитать драму? Для того, чтобы по памяти записать? Но въ этомъ не представлялось никакой надобности, потому что г. Зуевъ могъ просто взять рукопись и тутъ же списать ее, не боясь какихъ-либо уклоненій отъ текста, если ужъ онъ непремѣнно рѣшилъ имѣть драму въ рукописи. Всѣ эти соображенія, повторяемъ, не внушаютъ довѣрія къ записи г. Зуева, которая представляется и ненужной, и лишней. Къ тому же и г. Бартеневъ въ своихъ разъясненіяхъ выражается слишкомъ неточно: онъ говоритъ только, что г. Зуевъ записалъ послѣднія сцены, но съ какого именно мѣста начиналась эта запись — мы не знаемъ.

Логически допустимо одно лишь предположеніе: или г. Зуевъ записалъ всю драму, боясь почему-то, что она никогда не попадетъ въ печать, или же ничего не записывалъ, такъ какъ это былъ лишній и ненужный трудъ. И не только ненужный, но и почти невозможный трудъ, потому что нужна колоссальная, почти невѣроятная память, чтобы записать, безъ отступленій и погрѣшностей, хотя бы послѣдніе 237 стиховъ.

И самое разсмотрѣніе записи по крайней мѣрѣ отчасти приводитъ къ тѣмъ же заключеніямъ. Стихъ въ большинствѣ случаевъ мало поэтиченъ и далеко не всегда выдержанъ тонъ, характеръ Пушкинскаго стиха, въ особенности въ тотъ періодъ жизни поэта, къ которому относится «Русалка». Часто попадаются стихи неправильные, неуклюжіе, съ заѣзженными общими мѣстами (чего никогда не позволялъ себѣ Пушкинъ). Напримѣръ:

Прочь съ глазъ! Продавецъ дочери проклятой!

или

Пѣснью *страстною* своей.

Въ другомъ мѣстѣ попадается такой стихъ:

Сказки! Непраздною... погибла... важность!

Такой стихъ едва ли можно приписать Пушкину.

Однако, мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ, будто бы самый замыселъ окончанія — жалкій, какъ выразилась одна газета. Его можно

было бы разработать ярче и глубже, но и въ томъ видѣ, въ какомъ намъ даетъ его г. Зуевъ, окончаніе тоже логически развиваетъ положеніе и коллизію, данныя Пушкинымъ; въ этомъ окончаніи нѣтъ ничего ни произвольнаго, ни случайнаго,—развязка вытекаетъ изъ самаго содержанія. Мы должны, кромѣ того, прибавить, что въ записи г. Зуева есть мѣсто, дѣйствительно достойное Пушкина. Это — сонъ Княгини.

Въ общемъ можно сказать, что теперь г. Зуевъ даетъ отдаленный, поблекшій отзвукъ Пушкинскаго замысла, но искаженный неумѣлыми стихами и не отражающій характерныхъ особенностей поэзіи Пушкина.

XVIII.

Изъ русскихъ изданій.

(«Книжки Недѣли», мартъ 1897 г.)

Попытка „припомнить“ окончаніе „Русалки“.

Въ «Русскомъ Архивѣ» напечатано окончаніе «Русалки», какъ подлинное произведеніе Пушкина... (Разсказывается исторія «записи» по «Русскому Архиву»). Такова исторія рукописи, сама по себѣ вызывающая недовѣріе къ подлинности

новооткрытыхъ стиховъ Пушкина. Всякому покажется страннымъ, что г. Зуевъ цѣлыхъ шестьдесятъ лѣтъ втайнѣ «услаждалъ дни свои» произведеніемъ великаго поэта, и только на шестьдесятъ первый годъ вздумалъ подѣлиться своей записью съ читающею публикою. Крайне удивительно также, что онъ записалъ только окончаніе драмы, какъ бы въ пророческомъ предвидѣніи, что послѣ смерти Пушкина оно будетъ затеряно или уничтожено. И многое другое въ исторіи рукописи вызываетъ простительныя сомнѣнія. Что касается самаго текста окончанія «Русалки», то въ немъ встрѣчается множество совсѣмъ плохихъ, прозаическихъ, неправильныхъ, банальныхъ, словомъ далеко не Пушкинскихъ стиховъ. Содержаніе мѣстами противорѣчитъ тому, что говорится въ первой, признанной части «Русалки». Напримѣръ, Русалка, посылая свою дочь привести Князя, велитъ ей приласкаться къ нему, а по рукописи г. Зуева Русалочка говоритъ Князю, въ стихахъ, неблистающихъ художественной красотой и ясностью:

«*Тебя* поцѣловать
И приласкать она *меня* просила.
Пойдемъ же къ ней, въ нашъ теремъ водъ прозрачныхъ!»

Есть, однако, и мѣста, хотя невыдержанныя, но не нарушающія общаго тона «Русалки», какъ напримѣръ сонъ Княгини.

(Авторъ цитируетъ стихи «записи» 199—221).

Почти всѣ отзывы о напечатанныхъ въ «Русскомъ Архивѣ» новыхъ сценахъ «Русалки» признаютъ ихъ за безцеремонную поддѣлку. Исключеніемъ является статья г. Южакова въ «Русскомъ Богатствѣ»....

XIX.

А. Ѳ. Вельтманъ и его планъ окончанія „Русалки“ Пушкина.[1])

(«Московскія Вѣдомости», 30-го марта 1897 г., № 88).

Конецъ прошлаго и начало истекающаго столѣтія не разъ ознаменованы были столкновеніями Россіи съ ея сѣверной сосѣдкой—Швеціей. Русскимъ войскамъ подолгу приходилось стоять въ занятыхъ провинціяхъ, плѣннымъ шведамъ—подолгу проживать въ разныхъ русскихъ городахъ. Племенной вражды между воевавшими государствами почти не было, а потому и побѣдители, и побѣжденные во время продолжительныхъ роздыховъ между военными дѣйствіями знакомились между собою, часто дружили, а иногда и роднились. Россіи это шведское

[1]) Докладъ, читанный въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности при Московскомъ Университетѣ, въ очередномъ засѣданіи 27-го марта.

родство дало знаменитаго ученаго филолога и палеографа Востокова и замѣтнаго археолога, даровитаго романиста и поэта Вельтмана. Замѣчательно, что тотъ и другой природные шведы, русскіе подданные лишь во второмъ поколѣніи, стали настоящими русаками, да такими русаками, которыхъ считалъ родными братьями коренной москвичъ—Погодинъ.

Сѣверное дерево, возросшее на скалистой почвѣ и закалившее въ борьбѣ со стихіями свой могучій организмъ, на родинѣ, вслѣдствіе этой именно борьбы, не давало такихъ обильныхъ плодовъ, которые легко принесло въ болѣе укрытомъ мѣстѣ на болѣе тучной почвѣ: оно переросло тамъ, пожалуй, много природныхъ елей и березъ... Замѣчательно еще, что оба пересаженные ростка очень рано и зацвѣли: первые юношескіе литературные опыты и Востокова, и Вельтмана—были стихотворные и, какъ ранній, не по сезону, цвѣтъ деревъ, довольно были безплодны... Плоды, и притомъ обильные, далъ расцвѣтъ ихъ позднѣйшей дѣятельности.

Имя Востокова, его научныя работы, его заслуги въ дѣлѣ изученія церковно-славянскаго и русскаго языка всѣмъ хорошо извѣстны. Но теперь почти всѣ забыли Вельтмана, хотя наше поколѣніе въ свое время зачитывалось его «Приключеніями, почерпнутыми изъ моря житейскаго»: если случайно и теперь попадется въ руки «Саломея», то не бросишь книги, пока не дочитаешь. А болѣе зрѣлые изъ насъ, вѣроятно,

помнятъ подобный же успѣхъ «Кощея Безсмертнаго», «Святославича», «Странника», весьма увлекательныхъ и весьма странныхъ, первыхъ романовъ Вельтмана.

Но я не буду здѣсь останавливаться подробно на литературныхъ, историческихъ и археологическихъ трудахъ А. Ѳ. Вельтмана, хотя предметъ этотъ очень благодаренъ, весьма любопытенъ и почти не разработанъ въ исторіи нашей литературы. Прошло слишкомъ 25 лѣтъ со смерти А. Ѳ. Вельтмана, а ни полной разработки его біографіи, ни оцѣнки его литературной дѣятельности мы еще не имѣемъ. Пора бы!

Я коснусь характеристики нѣкоторыхъ его литературныхъ работъ лишь постольку, поскольку это прольетъ намъ свѣтъ на неизвѣстный еще трудъ Вельтмана—планъ окончанія «Русалки» Пушкина, которую Вельтманъ хотѣлъ дописать, составилъ планъ работы, и началъ продолженіе съ того мѣста, гдѣ текстъ обрывается въ изданіи, но почему-то забросилъ, вѣроятно потому, что эта работа оказалась ему не по силамъ.

Вельтманъ любилъ и почиталъ Пушкина. Ему приходилось нѣсколько разъ въ своей жизни сталкиваться съ великимъ поэтомъ, и они не только познакомились, но подъ конецъ и подружились. Первое ихъ знакомство было въ Кишиневѣ, гдѣ Вельтманъ служилъ въ арміи, а Пушкинъ проживалъ въ ссылкѣ.

Вельтманъ описалъ свое знакомство съ Пушкинымъ въ «Воспоминаніяхъ о Бессарабіи», въ

которыхъ, по его словамъ, очеркъ страны служитъ рамой, куда онъ вставилъ свои воспоминанія о Пушкинѣ. Воспоминанія эти по рукописямъ Московскаго Публичнаго Музея опубликованы были въ извлеченіи Е. С. Некрасовой («Вѣстникъ Европы» 1881 г., № 3) и вполнѣ Л. Н. Майковымъ въ его «Историко-литературныхъ очеркахъ» (Спб. 1895).

Сначала Вельтманъ дичился Пушкина. «Встрѣчая Пушкина въ обществѣ и у товарищей,—разсказываетъ онъ въ этихъ воспоминаніяхъ,—я никакъ не умѣлъ съ нимъ сблизиться: для другихъ въ обществѣ онъ могъ казаться ровенъ, но для меня онъ казался недоступенъ. Я даже удалялся отъ него, и сколько я могу понять теперь тайное, безотчетное для меня тогда чувство, я боялся, чтобы кто-нибудь изъ товарищей не сказалъ ему при мнѣ: «Пушкинъ, вотъ и онъ пописываетъ у насъ стишки».

Но шила въ мѣшкѣ не утаишь, говоритъ пословица, такъ и поэта нельзя было скрыть въ тогдашнемъ Кишиневѣ. Случай скоро свелъ поэтовъ. Пушкинъ, узнавъ, что Вельтманъ сочиняетъ молдавскую сказку въ стихахъ, подъ заглавіемъ: «Янко чабанъ» (пастухъ Янко), навѣстилъ его и просилъ прочитать ему что-нибудь изъ «Янка». «Три пѣсни этой нелѣпой поэмы-буффы были уже написаны, разсказываетъ Вельтманъ: зардѣвшись отъ головы до пятокъ, я не могъ отказать поэту и сталъ читать. Пушкинъ хохоталъ отъ души надъ нѣкоторыми мѣстами опи-

саній моего *Янка*, великана и дурня, который, обрадовавшись, такъ росъ, что вскорѣ не стало мѣста въ хатѣ отцу и матери, и младенецъ, проломивъ ручонкой стѣну, вылупился изъ хаты, какъ изъ яйца».

«Чрезъ нѣсколько дней, продолжаетъ авторъ, я отправился изъ Кишинева и не видалъ уже Пушкина до 1831 года. Онъ посѣтилъ *странника* [1]) уже въ Москвѣ. «Я непремѣнно буду писать о «Страннике», сказалъ онъ мнѣ. Въ послѣдующія свиданія онъ всегда напоминалъ мнѣ объ этомъ намѣреніи. Обстоятельства заставили его забыть объ этомъ; но я дорого цѣню это намѣреніе».

«Пора намъ перестать говорить другъ другу *вы*, сказалъ онъ мнѣ, когда я просилъ его въ собраніи показать жену свою. И я въ первый разъ сказалъ ему: «Пушкинъ, ты—поэтъ, а жена твоя—воплощенная поэзія». Это не была фраза обдуманная: этими словами невольно только высказалось сознаніе умственной и земной красоты».

«Теперь, заключаетъ свои воспоминанія Вельтманъ, гдѣ тотъ, который такъ таинственно, такъ скрытно даже для меня пособилъ развертываться силамъ остепенившагося *странника*?...»

Этими словами Вельтманъ признаетъ вліяніе Пушкина на свое развитіе. Л. Н. Майковъ такъ

[1]) Такъ Вельтманъ называлъ себя по извѣстному своему произведенію.

опредѣляетъ литературную физіономію этого писателя:

«Міросозерцаніе Вельтмана всегда оставалось простое и ясное, постигающее добро и зло лишь въ ихъ несложной, первичной формѣ: наивное міросозерцаніе народной сказки. И, можетъ быть, произошло это не случайно. «При мнѣ, вспоминаетъ Вельтманъ въ своей автобіографіи,— былъ дядька Борисъ. Онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ отличный башмачникъ и удивительный сказочникъ. Слѣдить за рѣзвымъ мальчикомъ и въ то же время строчить и шить башмаки было бы невозможно, а потому, садясь за станокъ, онъ меня ловко привязывалъ къ себѣ длинною сказкой, нисколько не воображая, что современемъ и изъ меня выйдетъ сказочникъ». Это было, по замѣчанію Майкова, чуть ли не единственнымъ литературнымъ вліяніемъ, которое оставило на Вельтманѣ замѣтный слѣдъ. «Когда онъ сталъ писателемъ, то взглянулъ на свою роль именно какъ на роль сказочника—не разумнаго хозяина своего воображенія, а покорнаго раба его».

Въ общемъ очень вѣрное замѣчаніе, но надо допустить и развивающее вліяніе Пушкина, по признанію самого писателя. Правда, оно сказалось болѣе внѣшнимъ образомъ, напримѣръ въ стихѣ.

Первый большой стихотворный опытъ Вельтмана—«Бѣглецъ», повѣсть въ стихахъ; предъ этою повѣстью помѣщены два стихотворенія, одно по-

священо сестрѣ, другое—Пушкину. Уже по этому посвященію можно судить, кому авторъ стремился подражать въ своемъ произведеніи. Дѣйствительно, вліяніе Пушкина сказалось здѣсь въ оборотѣ рѣчи, въ стихѣ. Возьмемъ, напримѣръ, начало поэмы:

О берегъ быстраго Дуная,
Набѣгомъ яростнымъ плескная,
Клокочетъ, пѣнится волна;
На небѣ тучи, ночь черна...

Или въ посвященіи поэмы сестрѣ, Е. Ѳ. Вельтманъ:

Ты хочешь, милая сестра,
Чтобы досуговъ изліянье
И трудъ послушнаго пера
Тебѣ прислалъ.—Твое желанье
Исполнить я всегда готовъ,
Какъ волю милыхъ сердцу словъ.
Прими, дитя моей мечты,
Начальный плодъ моихъ видѣній.
Мнѣ милыхъ трое: братъ и ты
И муза—другъ уединеній.
Досуги посвящаю ей,
Вамъ въ жертву огнь любви моей!

и т. д.

Но въ развитіи дѣйствія, въ выборѣ сюжета и здѣсь остался самородный Вельтманъ, совсѣмъ не похожій на Пушкина. Я не буду излагать, для примѣра, содержанія «Бѣглеца». Оно не интересно и не такъ характерно для манеры Вельтмана какъ другія позднѣйшія его произведенія, например́ъ «Кощей Безсмертный», «Святославичъ», «Странникъ», «Саломея».

Главный его недостатокъ — отрицаніе всѣхъ правилъ ложно-классической школы. Онъ нарушалъ въ своихъ произведеніяхъ не только пресловутыя три единства—времени, мѣста и дѣйствія, но не признавалъ даже необходимости какой бы то ни было руководящей *главной мысли* въ произведеніи. «Отечественныя Записки», —говоритъ онъ въ одномъ своемъ отвѣтѣ на рецензію,—искали *главной мысли* и не нашли; сознаюсь, я не развивалъ какой-нибудь односторонней страстишки какого-нибудь изобрѣтеннаго романическаго лица». Это отрицаніе какихъ бы то ни было правилъ, нежеланіе поставить границы своей дѣйствительно богатой фантазіи, склонность къ самой запутанной интригѣ, такъ что читатель почти всегда ошибается въ дальнѣйшемъ развитіи дѣйствія, и дѣйствіе развивается совершенно неожиданно, повидимому, и для автора,—все это, взятое вмѣстѣ съ несомнѣннымъ поэтическимъ дарованіемъ, умѣющимъ и очертить отдѣльные характеры мѣтко и выпукло, и представить отдѣльный эпизодъ живо и наглядно, и унестись кстати въ таинственный, завлекательный сказочный міръ,—все это дѣлало произведенія Вельтмана чрезвычайно увлекательными во время чтенія и—оставляло какое-то чувство не то неудовлетворенности, не то разочарованія по прочтеніи. И все это такъ несродни Пушкину, у котораго единство замысла, классическая простота развитія дѣйствія живутъ даже въ самыхъ фантастическихъ произведеніяхъ!

Теперь понятно, каковъ могъ явиться планъ продолженія «Русалки» подъ перомъ Вельтмана,— работа, въ которой нельзя, впрочемъ, не видѣть еще лишній примѣръ вліянія нашего великаго поэта на развитіе даровитаго романиста.

Вотъ этотъ планъ, написанный собственноручно Вельтманомъ и озаглавленный въ рукописи: «Планъ продолженія «Русалки» Пушкина».

Князь на берегу видитъ Русалочку. Онъ разспрашиваетъ ее, чья она, откуда.

Она разсказываетъ ему про любовь къ нему ея матери и что она ждетъ его къ себѣ.

— Куда же? гдѣ она?

— Въ Днѣпрѣ,—отвѣчаетъ Русалочка. Описываетъ подводное царство.

Князь внимаетъ въ раздумьѣ и вдругъ бросается въ Днѣпръ. Его свита, приближаясь, видитъ это; всѣ бросаются въ воду, опускаются; тщетно.

Приходитъ старикъ: — Что̀ вы ищете на днѣ, не мои ли разсыпанныя деньги? Не дамъ, не дамъ, говоритъ онъ,—и также бросается въ воду, вытаскиваетъ Князя.

— А! — говоритъ — трупъ, вотъ славная покормка!

Но у него отнимаютъ Князя, качаютъ его; онъ приходитъ въ себя; его приводятъ въ чертоги.

Княгиня заботится около него; молитъ Бога, чтобы спасъ Князя, цѣлуетъ его, а онъ въ безпамятствѣ описываетъ ей подводное царство: онъ мечтаетъ о немъ; тщетно лѣкари лѣчатъ его.

Между тѣмъ Княгиня родила дочь. Однажды Княгиня принесла къ нему на рукахъ дитя; онъ зоветъ ее гулять на Днѣпръ. Выходятъ; онъ вырывается и бросается съ ребенкомъ въ воду; Княгиня ахнула, и вслѣдъ за нимъ. Исчезаютъ въ волнахъ.

Трупъ Князя всплываетъ на верхъ воды, его прибиваетъ къ берегу близъ мельницы. Сумасшедшій Мельникъ вытаскиваетъ его и прячетъ подъ дубъ. Приходятъ искать Князя и Княгиню, находятъ старика-Мельника; уста въ крови.

— Чтò ты тутъ дѣлаешь, старикъ?

— Я воронъ, клюю добычу.

Подъ дубомъ находятъ оглоданныя кости, накрытыя княжескимъ бехтерцемъ.

Планъ, какъ видите, далекъ отъ естественнаго развитія предшествующихъ, изложенныхъ въ драмѣ Пушкина, событій; дѣйствіе запутано осложнено побочными эпизодами, безъ нужды увеличивающими трагическую развязку гибелью неповинныхъ существъ (дочь Князя, Княгиня) и антихудожественною обстановкой каннибализма (уста въ крови, оглоданныя кости). Извѣстный текстъ г. Зуева, при всѣхъ его отмѣченныхъ критикой недостаткахъ, несравненно ближе стоитъ по ходу дѣйствія къ замыслу Пушкина, чѣмъ это фантастическое окончаніе.

Единственное, чтò можно извлечь изъ этой попытки Вельтмана для поднятаго теперь вопроса о Пушкинскомъ окончаніи «Русалки», это то, что Вельтману, очевидно, совсѣмъ не было извѣстно,

даже по слухамъ, это окончаніе; иначе, зачѣмъ бы сталъ онъ надъ этимъ трудиться?

Вельтманъ принялся и за осуществленіе своего плана. Такъ, онъ продолжилъ ту сцену на которой обрывается подлинный текстъ Пушкина:

(КНЯЗЬ.

...Откуда ты, прелестное дитя?)

РУСАЛОЧКА.

...Откуда?... отгадай!

КНЯЗЬ.

Ты вѣрно заблудилась,
Зашла сюда изъ княжеской столицы?
(Подходитъ къ ней и беретъ ее на руки).
Какъ ты мила!.. какой счастливецъ тотъ,
Кто дочерью назвать имѣетъ право
Такого ангела! кто вынянчилъ его
На собственныхъ рукахъ, цѣлуя страстно
Свое подобіе, подобіе подруги!
Скажи же, душенька, откуда ты зашла въ
такую глушь?

РУСАЛОЧКА.

Откуда?.. отгадай!

КНЯЗЬ.

Бѣдняжечка!.. въ ней нѣтъ еще боязни
Къ опасностямъ; еще не страшенъ ей
Ни дикій звѣрь, ни человѣкъ недобрый;
Вездѣ она какъ дома, у порога
Играетъ на глазахъ у доброй няни...

Кромѣ этой неоконченной сцены, въ бумагахъ Вельтмана сохранилось начало колыбельной пѣсни, которую, повидимому, поетъ Русалка въ подводномъ царствѣ, укачивая свою дочь:

Спи, дитя, пай, дитя, чадо княжеское,
Вся въ отца, безъ вѣнца родилась!
Спи, княжна, шшъ волна, волна вражеская,
Чтобъ ты въ море на горе лилась!
Полюбилъ, закупилъ красу дѣвичью князь,
Обольщалъ, обѣщалъ вѣкъ любить...

Это еще новая, непредвидѣнная подробность! И такихъ неожиданностей, сверхъ составленнаго самимъ же плана, у Вельтмана явилось бы еще много, еслибъ онъ докончилъ свое предпріятіе.

Бумаги Вельтмана поступили въ Московскій Публичный Музей въ 1880 году. Планъ и сцены «Русалки» писаны на двухъ отдѣльныхъ листахъ писчей бумаги съ клеймомъ 1837 года. Колыбельная пѣсня на обрывкѣ такой же бумаги.

С. Долговъ.

XX.

Маленькія Письма.

CCCLXVI.

I.

(«Новое Время», 16-го января 1900 г., № 8580).

Были два инженера, братья Зуевы. Одинъ управлялъ Николаевской желѣзной дорогой, а другой представилъ окончаніе Пушкинской «Русалки». Г. Зуевъ разсказалъ, что въ 1836 году у поэта Губера онъ, будучи 14-ти лѣтъ, слышалъ чтеніе всей «Русалки» и записалъ на память ея вторую половину, которая ему особенно понравилась и которую Пушкинъ прочелъ, по его просьбѣ, два раза. Эту «запись» г. Бартеневъ — прости ему, Господи! — напечаталъ, какъ нѣкую драгоцѣнность, а В. П. Буренинъ и другіе критики весьма основательно усомнились въ принадлежности этой вещи нашему великому поэту. Казалось, на этомъ и надо было кончить съ этимъ непозволительнымъ водевилемъ дурного тона. Но

вотъ въ трехъ книжкахъ ученыхъ «Извѣстій Отдѣл. Рус. Языка и Словесности Имп. Академіи Наукъ» является цѣлое «изслѣдованіе» г. Ѳ. Корша, посвященное Зуевской «Русалкѣ», т.-е. 228 стихамъ инженера, которые онъ прибавилъ къ 496 стихамъ Пушкина [1]). Изслѣдованіе занимаетъ 364 стр., т.-е. 23 печатныхъ листа.

Г. Коршъ говоритъ, что «подробности личнаго участія г. Зуева въ дѣлѣ сохраненія прежде неизвѣстнаго отрывка поэзіи Пушкина» «менѣе всего допускаютъ разсмотрѣніе», т.-е., другими словами, менѣе всего существенны, что «чудесная память» встрѣчается нерѣдко, и т. д. Мнѣ думается, что самая существенная сторона въ этихъ подробностяхъ заключается именно въ томъ, что 14-лѣтній Зуевъ, записавъ на память окончаніе «Русалки», хранилъ это въ тайнѣ болѣе 60-ти лѣтъ: записалъ онъ въ 1836 году, а обнародовалъ въ «Русск. Архивѣ» въ 1897 году. Почему онъ не открылъ этой записи никому изъ современниковъ Пушкина, ни Губеру, ни Жуковскому, ни Вяземскому, ни Плетневу, ни Краевскому, который былъ въ числѣ лицъ, разбиравшихъ бумаги Пушкина и, какъ вліятельный журналистъ, издававшій «Отеч. Записки», «Прибавленія къ «Рус. Инвалиду», «Спб. Вѣд.» и «Голосъ», стоялъ во главѣ литературы 50 лѣтъ.

[1]) Г. Бартеневъ насчиталъ 552 стиха у Пушкина и 237 стиховъ у г. Зуева, потому что онъ считалъ въ сложныхъ репликахъ полустишія за цѣлый стихъ.

Этого вопроса г. Коршъ даже не коснулся, хотя видѣлся съ г. Зуевымъ, который на вопросъ о томъ, почему его запись начинается только какъ разъ послѣ послѣдняго стиха Пушкинской «Русалки», открылъ ему, что запись его начинается раньше, именно онъ записалъ и 8 послѣднихъ стиховъ сохранившагося Пушкинскаго текста. Неоконченная «Русалка» явилась въ «Современникѣ» въ 1838 году. Губеръ умеръ въ 1847 году. Почему Зуевъ не вспомнилъ о томъ, что въ ноябрѣ 1836 года Пушкинъ читалъ ему всю «Русалку»? Почему г. Зуевъ никого не назвалъ, кто присутствовалъ во время чтенія у Губера, онъ, имѣвшій чудесную память. Если у Губера присутствовалъ только 14-лѣтній Зуевъ, а Пушкинъ читалъ имъ «Русалку» двоимъ, то весьма вѣроятно, что этотъ юноша былъ близокъ Губеру и не могъ скрывать отъ него, что онъ записалъ «Русалку», и даже не могъ бы не показать ему свою запись. Не говорю уже о томъ, что юноша не могъ бы удержать этого секрета даже потому, что онъ, юноша, удостоился такого счастія, что Пушкинъ *для него* дважды прочиталъ «Русалку». Это было что-то совсѣмъ выходящее изъ ряда вонъ, что-то необыкновенно милое и дорогое. И вотъ этотъ юноша—никому ни слова въ теченіе всего того времени, когда были въ живыхъ Губеръ, Плетневъ, Вяземскій, Жуковскій, Краевскій, и секретъ хранится 60 лѣтъ, какъ нарочно до того времени, когда никого изъ современниковъ Пушкина не осталось. Г. Зуевъ

не проговорился даже во время открытія памятника Пушкину. Согласитесь, что такой секретъ невозможно себѣ объяснить никакой причиною, кромѣ одной: этой «записи» никогда не существовало не только въ 1836 году, но и гораздо позже. Это просто сознательная и бездарная поддѣлка подъ Пушкина.

Методъ г. Корша заключается въ слѣдующемъ. Такъ какъ поддѣлка до очевидности бездарна и плоха, то надо доказать, что у Пушкина есть несовершенные стихи, плохія риѳмы и т. д. Какъ скоро это будетъ доказано, то поддѣлку можно разсматривать, какъ первоначальную редакцію окончанія «Русалки», и этимъ объяснить всю ея бездарность и Зуевскіе стихи объявить Пушкинскими.

«Само собою разумѣется, говоритъ г. Коршъ, что на страницахъ академическаго изданія такая работа должна состоять не въ полемикѣ съ отдѣльными критиками, а въ строгомъ, по возможности научномъ, изслѣдованіи доступныхъ разбору сторонъ вопроса, хотя иногда невозможно пройти молчаніемъ ихъ (критиковъ) возраженія». Критики, благодарите! Это «по возможности научное изслѣдованіе» отыскиваетъ доказательства чисто формальныя, техническія, почти ничего общаго не имѣющія съ внутреннимъ содержаніемъ поэтическаго произведенія. Г. Коршъ, какъ статистикъ, беретъ примѣры, раскладываетъ ихъ по рубрикамъ и подводитъ итоги. Точно для сужденія о поэтическомъ произведеніи не нужно ни-

какого вкуса, ибо о вкусахъ не спорятъ, а нужна только техника въ этотъ техническій вѣкъ. Для него, поэтому, «Пушкинскій стихъ тотъ, который, будучи даже не совсѣмъ правиленъ по языку, построенъ по Пушкинской техникѣ». Стало быть, стоитъ только изучить Пушкинскую технику преимущественно по примѣрамъ несовершеннымъ, черпая ихъ въ значительномъ числѣ и изъ лицейскихъ и вообще раннихъ его произведеній, и дѣло въ шляпѣ. Хотя «Русалка» была написана въ періодъ полной зрѣлости Пушкина, но, ради г. Зуева, это слѣдуетъ игнорировать. Такъ онъ и поступаетъ; онъ приводитъ стихи изъ всѣхъ Пушкинскихъ произведеній, наполняя ими сотни страницъ, и при этомъ указываетъ, гдѣ Пушкинъ не соблюдалъ цезуры въ пятистопномъ стихѣ, хотя заявлялъ, что «любитъ ее», выписываетъ его неудачныя, бѣдныя риѳмы, риѳмы одного корня и наглагольныя, т.-е. опять не совершенныя, указываетъ на малое чутье его въ этимологіи, на его галлицизмы, на неправильное иногда чередованіе у него мужскихъ и женскихъ окончаній и прочее, и даетъ къ этому небольшія поясненія. Такая провѣрка убѣждаетъ г. Корша, что Пушкинскій стихъ—«несовершенный». Мало того, у Пушкина есть «мѣста не только темныя, но прямо непонятныя», «правда, очень рѣдко». Онъ указываетъ одно мѣсто въ «Русланѣ и Людмилѣ», одно въ «Полтавѣ» и одно въ «Мѣдномъ Всадникѣ». Только всего. Изъ этихъ трехъ мѣстъ только одно пер-

вое [1]) еще можетъ считаться недостаточно яснымъ, другія два совершенно ясны, какъ слѣдуетъ вотъ изъ этого примѣра «неясности», приводимаго имъ. Въ «Полтавѣ» есть стихи:

Въ странѣ, гдѣ мельницъ рядъ крылатый
Оградой мощной обступилъ
Бендеръ пустынные раскаты,—

[1]) Вотъ мѣсто изъ «Руслана и Людмилы», первая пѣснь, на которое указываетъ г. Коршъ:

Подъ кровомъ вѣчной тишины,
Среди лѣсовъ, въ глуши далекой
Живутъ сѣдые колдуны;
Къ предметамъ мудрости высокой
Всѣ мысли ихъ устремлены;
Все слышитъ голосъ ихъ ужасный,
Что было и что будетъ вновь,
И грозной волѣ ихъ подвластны
И гробъ, и самая любовь.

Г. Коршъ допускаетъ такое толкованіе подчеркнутыхъ стиховъ: «голосъ ихъ ужасный» сказано вмѣсто «они, которыхъ голосъ ужасенъ» по причинѣ ихъ всевѣдѣнія, позволяющаго имъ обнаруживать передъ людьми прошедшее и будущее».

Въ «Мѣдномъ Всадникѣ» г. Коршъ указываетъ на слѣдующіе стихи:

Ужасный день! Нева всю ночь
Рвалася къ морю противъ бури,
Не одолѣвъ *ихъ* буйной дури...

«Чьей» дури? спрашиваетъ г. Коршъ и отвѣчаетъ: «конечно, вѣтровъ; но вѣтры не упомянуты ни однимъ словомъ».

Г. Коршъ замѣчаетъ, что «воображенію представляется Голландія, какъ страна, изобилующая мельницами». Можете себѣ представить! Но вѣдь Пушкинъ писалъ для русскихъ и самъ Голландію никогда не видалъ. Зачѣмъ же тутъ Голландія? Онъ описывалъ Бендеры, гдѣ и доселѣ множество вѣтряныхъ мельницъ, какъ вообще въ бессарабскихъ мѣстечкахъ и городахъ. Правда, «раскатъ» фортификаціонное выраженіе, но всѣмъ извѣстное, кто учился русской исторіи. Такимъ образомъ въ этихъ стихахъ все ясно, но этотъ примѣръ ясно и говоритъ о придирчивости г. Корша. Имѣя въ виду все ту же слабость къ Зуевской подделкѣ подъ Пушкина, г. Коршъ очень односторонне характеризуетъ пріемы работы Пушкина и заключаетъ, что «исправленія Пушкина (стиховъ) въ большинствѣ случаевъ касались цѣлаго, а не частностей, къ которымъ онъ былъ сравнительно равнодушенъ». Рукописи Пушкина напротивъ доказываютъ, что и то и другое занимало его, и онъ много разъ мѣнялъ слова и выраженія въ одномъ и томъ же стихѣ. Хотя Пушкинскій стихъ, по словамъ г. Корша, «отличается чистотой, правильностью, простотою, богатствомъ, гибкостью и нерѣдко народностью выраженій и оборотовъ... но и въ этомъ отношеніи Пушкинъ не представляетъ собою совершенства». И опять цѣлыя страницы примѣровъ несовершенства, нерѣдко столь же придирчивыхъ, какъ придирчивъ былъ къ Пушкину Мартыновъ въ «Маякѣ» въ 1843 году, тоже

*

указывавшій, между прочимъ, на несовершенство риѳмъ.

Извѣстно, что поэты и писатели повторяютъ не только одни и тѣ же слова, но даже фразы съ незначительными варіантами въ разныхъ своихъ произведеніяхъ. Даже у Шекспира такихъ повтореній множество. Для убѣжденія въ этомъ стоитъ только обратиться къ огромному тому, составленному Мэри Коуденъ-Клэркъ (Mary Cowden-Clarke), «The Complete concordance to Shakespeare», гдѣ указаны всѣ слова, употребленныя Шекспиромъ въ связи съ фразою и указаніемъ акта и сцены произведенія. Эта трудолюбивая женщина шестнадцать лѣтъ работала надъ этимъ трудомъ, который впослѣдствіи былъ дополненъ нѣсколькими англійскими критиками и послѣднее изданіе его (1886) можетъ назваться совершенствомъ въ своемъ родѣ. По этому труду легко подобрать повторенія у Шекспира. Такъ слово *love* (любовь и любить) употреблено Шекспиромъ больше чѣмъ въ 1,900 стихахъ, слово *God* (Богъ) въ 1,000 стихахъ, слово *youth* (юность) больше чѣмъ въ 200 стихахъ, слово *christian* (христіанинъ) въ 76 стихахъ, слово *woman* и *women* (женщина и женщины) въ 570 стихахъ, и т. д. [1]). Не имѣя такой книги относительно

[1]) Кстати. Г. Коршъ, говоря въ другомъ мѣстѣ своего изслѣдованія, что Пушкинъ подражалъ Шекспиру, употребляя между бѣлыми стихами риѳмованные, плохо считалъ риѳмованные стихи у Шекспира въ его драмахъ и комедіяхъ. У Шекспира очень много риѳмованныхъ пятистоп-

Пушкина, должно признать, что г. Коршъ далъ для этого нѣсколько матеріаловъ, отыскивая у Пушкина подобныя повторенія. Онъ находитъ, что въ 1817 году у Пушкина есть: «минуты упоенья», а въ 1820 году «минуты умиленья»; въ 1821 году онъ говорилъ: «крикъ, шумъ» и въ 1824 году—«крикъ, шумъ», въ «Братьяхъ Разбойникахъ»—«мнѣ душно здѣсь» и въ «Евгеніи Онѣгинѣ»—«ей душно здѣсь», и т. д., и т. д. Нагромоздивъ эти примѣры, онъ дѣлаетъ такой курьезный выводъ: «Понятно (?), что чѣмъ скорѣе кто пишетъ, тѣмъ чаще употребляетъ привычныя сочетанія словъ и даже повторяетъ бывшія прежде въ его сознаніи мысли; потому (??) въ заключительныхъ сценахъ «Русалки» (Зуевскихъ), если онѣ были написаны Пушкинымъ, мы должны ожидать повтореній (??) всякаго рода». Ну, а если эти сцены написаны г. Зуевымъ, мы не должны ждать повтореній всякаго рода? Удивительная логика! Не у Пушкина должно ожидать повтореній всякаго рода, и на такое

ныхъ стиховъ, особенно въ раннихъ его произведеніяхъ. Въ «Love's L. Lost» 1,028 стиховъ съ риѳмами, въ «Ромео и Юліи» ихъ 485 (въ первой редакціи только 354), въ «Ричардѣ III» 170, въ «Гамлетѣ» 81, въ «Макбетѣ» 118, въ «Отелло» 86, въ «Лирѣ» 74 и т. д. Короткіе риѳмованные стихи и пѣсенки въ этотъ счетъ не входятъ. Кромѣ того, надо сказать еще, что у Шекспира въ его драмахъ встрѣчаются стихи одно- двух- трех- четырех- пяти- и шестистопные. Все это давно высчитано и г. Коршу незачѣмъ было самому считать и приводить отрывочныя и невѣрныя свѣдѣнія объ употребленіи Шекспиромъ риѳмованныхъ стиховъ.

заключеніе о своихъ произведеніяхъ онъ не даетъ ни малѣйшаго права, а именно у г. Зуева, у подражателя, у поддѣльщика. Развѣ вторыя половины «Бориса Годунова» или «Каменнаго гостя» представляютъ повторенія первыхъ половинъ? Подражать легче, чѣмъ создавать, компилировать легче, чѣмъ сочинять. Сколько драматурговъ даровитыхъ и бездарныхъ подражаютъ Шекспиру, усваивая его мысли и его форму, сколько написано *Шекспировскихъ* стиховъ разными поэтами, сколько написано *Пушкинскихъ* стиховъ!

Но г. Коршъ пишетъ только «по возможности научное» изслѣдованіе, а потому о логикѣ иногда и не безпокоится. Ему хорошо извѣстно, что «Русалка» писана Пушкинымъ съ годичными перерывами, стало быть не скоро, и при годичныхъ перерывахъ менѣе всего возможны повторенія, но такъ какъ онъ стремится навязать Зуевскую «запись» Пушкину, то ему ничего не стоитъ, вопреки всякому здравому смыслу, утверждать, что въ окончаніи «Русалки», если бы Пушкинъ написалъ его, «должно ожидать повтореній всякаго рода»! А такъ какъ въ Зуевской «записи» множество повтореній, то выходитъ—писалъ Пушкинъ. Такими-то натяжками нашъ критикъ сближаетъ Пушкина съ поддѣлкой.

Я позволю себѣ эту бесѣду возобновить завтра.

CCCLXVII.

II.

(«Новое Время», 17-го января 1900 г., № 8581).

Оправданія тѣхъ или другихъ выраженій въ поддѣлкѣ г. Коршъ ищетъ въ похожихъ выраженіяхъ во всѣхъ произведеніяхъ Пушкина. Напримѣръ, у г. Зуева «мѣсяцъ золотой». Кажется, это выраженіе стало уже банальнымъ у всѣхъ поэтовъ. Но г. Коршъ сообщаетъ стихи Пушкина съ «мѣсяцемъ золотымъ», съ «луною златой», съ «луною серебристой», съ «луною серебряной»; у г. Зуева—«волны стали холодѣть», у Пушкина въ «Русалкѣ»—«волны охладѣли». У г. Зуева—«вѣтерокъ пахнулъ свѣжѣй», у Пушкина въ «Е. Онѣгинѣ»—«И вѣстникъ утра, вѣтеръ вѣетъ»; у г. Зуева—«угадала, знать» и у Пушкина—«знать, не горевалъ», «знать, на дорогѣ» и проч.; у г. Зуева—«дѣвушка съ стыда» (вмѣсто со стыда), у Пушкина—«съ своей пылающей душой», «съ спокойнымъ сердцемъ»; у г. Зуева—«сердце ноетъ», у Пушкина—«душа въ ней ныла»; у г. Зуева свѣчи отражаются «*на* зеркалѣ», у Пушкина «*въ* зеркалѣ», въ «Русланѣ и Людмилѣ», но зато у Пушкина — вмѣсто «*на* чужбинѣ»—«въ чужбинѣ», а потому онъ могъ отражать свѣчи и *на* зеркалѣ; у

г. Зуева—«*вмигъ* въ рукахъ погасли свѣчи», у Пушкина... ахъ, какая радость: «вмигъ»—одно изъ любимыхъ выраженій Пушкина, восклицаетъ г. Коршъ! И на двухъ страницахъ выписываетъ фразы изъ Пушкина со словомъ «вмигъ», Эврика! ужъ если у г. Зуева есть слово *вмигъ*, любимое слово Пушкина, то какъ же Зуевъ не Пушкинъ!?

Я сдѣлалъ только маленькое извлеченіе изъ сотенъ страницъ, которыя заняты подобными сравненіями. Характеристическая особенность пріема г. Корша въ этомъ случаѣ заключается въ томъ, чтобы потопить г. Зуева въ Пушкинѣ для ихъ сліянія. Этого нашъ критикъ думаетъ достигнуть тѣмъ, что не приводитъ изъ г. Зуева большихъ отрывковъ, чтобъ не выдать всю пошлость и ординарность его стиха, а дѣйствуетъ алопатомъ относительно Пушкина и гомеопатомъ относительно г. Зуева. Двѣ строчки изъ г. Зуева и 200 строкъ изъ Пушкина, три строчки изъ г. Зуева и 300 строчекъ изъ Пушкина. Пушкинъ и прикрываетъ все. Все, что есть несовершеннаго у Пушкина, все это ярко выставляется, а все, что есть безсмысленнаго, безграмотнаго и глупаго у г. Зуева, то тщательно затушевывается. Безсмыслицу онъ старается объяснить, но объясненія выходятъ туманными; а явныя ошибки противъ языка и стихосложенія у г. Зуева онъ старается оправдать или невѣрной разстановкой знаковъ препинанія, или вмѣшательствомъ въ ямбъ трохея,

или проходитъ ихъ молчаніемъ. Иногда, чтобъ придать стиху г. Зуева какой-нибудь смыслъ, онъ выкидываетъ изъ стиха полстиха, или замѣняетъ одно слово другимъ, по своей догадкѣ, или прибавляетъ два слова, или утверждаетъ, что «при отдѣлкѣ Пушкинымъ одинъ изъ этихъ стиховъ (Зуевскихъ) вѣроятно былъ бы исключенъ». Свою предусмотрительность онъ простираетъ до того, что прямо указываетъ, какъ могъ бы Пушкинъ исправить тотъ или другой стихъ, какъ будто и самъ г. Коршъ чувствуетъ себя Пушкинымъ, конечно, возлѣ г. Зуева. Такъ, предполагая въ одномъ мѣстѣ Зуевской «записи», именно въ сценѣ охотниковъ, пропускъ, г. Коршъ самъ сочиняетъ три стиха, которые, должно признаться, принадлежатъ къ лучшимъ Зуевскимъ стихамъ. Вотъ эти стихи г. Корша:

ЛЮБИМЕЦЪ КНЯЗЯ.

И ты туда-жъ. Во снѣ тебѣ, должно быть,
Пригрезилось!

ДРУГОЙ ОХОТНИКЪ.

Пожалуй, что и такъ:
Всю эту ночь и глазъ мы не смыкали.

Вообще снисходительности нашего критика къ г. Зуеву почти нѣтъ никакихъ границъ. Точно адвокатъ, увѣряющій судей, что явный убійца, зарубившій пять человѣкъ, въ сущности ужъ не Богъ вѣсть какъ виновенъ, ибо убитые были очень нехорошіе люди. Вотъ примѣры. «Про-

мѣшкаться охотой»—не говорится и ничего подобнаго у Пушкина нѣтъ. Но у него есть: «Возможно ли, какой судьбою?» Что общаго? А вотъ что: «такъ какъ слово *охота* въ этой связи есть такъ называемое имя дѣйствія, возможна и конструкція съ творительнымъ падежемъ». Нельзя сказать: «Ну, отъ часу»; нашъ ученый утверждаетъ, что тутъ просто ошибка и вмѣсто «ну» надо поставить «часъ». У Пушкина нѣтъ «пѣсней огневою» и прилагательнаго «огневой» нѣтъ во всемъ Пушкинѣ, но есть «громовой», «боевой», «круговой» и проч., и проч., а потому онъ могъ употребить и «огневой»; у г. Зуева нѣсколько разъ «дѣвчоночка», «дѣвчоночки»; у Пушкина нигдѣ этого нѣтъ, но у него есть «дѣвчонка», а потому онъ могъ употребить и слово «дѣвчоночка». Вѣдь это все равно, что сказать про человѣка, что онъ не укралъ, но можетъ украсть. Неужели филологическіе пріемы такъ свободны отъ логики! У Пушкина нѣтъ Зуевскаго слова «истомный», нѣтъ его даже во всемъ литературномъ языкѣ, но у него есть «безстыдность», «разнота», «безуханный», а потому онъ могъ употребить и «истомный». У г. Зуева—«красавецъ *безотказный*», эпитетъ никогда Пушкинымъ не употреблявшійся. Нашъ филологъ вертитъ этимъ словомъ, значеніе котораго объяснено у Даля, и такъ и сякъ, но все не находитъ въ стихѣ смысла. А стихъ вотъ какой:

Князь молодъ и горячъ, красавецъ безотказный,
Богатъ и щедръ.

Тогда г. Коршъ отказывается отъ этого слова и самъ, вмѣсто г. Зуева, сочиняетъ полтора стиха въ лучшемъ видѣ, чѣмъ г. Зуевъ:

Князь молодъ и горячъ, собой красавецъ,
Богатъ и щедръ.

Но вѣдь если г. Зуевъ 14-ти лѣтъ «записалъ» стихъ съ «красавцемъ безотказнымъ», значитъ онъ его слышалъ изъ устъ Пушкина. Вѣдь это не какое-нибудь простое и всѣмъ понятное слово, въ родѣ лгунъ, обманщикъ, а такое, что и г. Коршъ полѣзъ въ словарь Даля за справкой. Мальчикъ 14-ти лѣтъ не могъ знать этого слова и даже не могъ его найти въ Академическомъ Словарѣ. Очевидно, оно подобрано «старцемъ» Зуевымъ, а не отрокомъ. Произведя съ этимъ словомъ необходимыя манипуляціи, г. Коршъ объявляетъ, наконецъ, что «стихъ съ этимъ словомъ не могъ быть одобренъ Пушкинымъ; но то же можно сказать съ увѣренностью (?) о многихъ стихахъ его неотдѣланныхъ произведеній». Напротивъ, можно держать пари, что во всѣхъ неотдѣланныхъ произведеніяхъ Пушкина нельзя отыскать такихъ нелѣпыхъ стиховъ и выраженій, какіе представляетъ Зуевъ. У г. Зуева—«бабенкой справить». У Пушкина этого нѣтъ и быть не могло. Это выраженіе изъ языка, которымъ ни народъ, ни образованные люди не говорятъ. Согрѣшившую дѣвушку народъ называетъ очень обидными словами, но никогда бабой, бабенкой. Баба — это жена, хозяйка, бабу дѣлаетъ мужъ, а не любовникъ, и

надобно совершенно извращенное воображенiе, чтобъ сказать «бабенкой справилъ». Г. Коршъ молчитъ объ этомъ выраженiи или думаетъ, что оно несомнѣнно Пушкинское, такъ какъ никто изъ критиковъ на него не указалъ. Встрѣтивъ стихъ, лишенный размѣра, г. Коршъ отмѣчаетъ его, но... свидѣтельствуетъ свою благодарность г. Зуеву: «Снова—говоритъ онъ, — приходится отдать справедливость добросовѣстности (??) Д. П. Зуева, который, конечно, сознавалъ эту очевидную неправильность». Другими словами, это значитъ, что отсутствiе ритма было у Пушкина. Но во всемъ Пушкинѣ нѣтъ стиха, подобнаго Зуевскому, о которомъ идетъ рѣчь. Вотъ онъ:

Сказки! Непраздною... погибла... важность!

Это безобразiе во всѣхъ отношенiяхъ, кончая точками [1]). Драматическая рѣчь у него вездѣ плавная, а эта обрывистая, съ точками—удѣлъ плохихъ драматурговъ, пишущихъ для актеровъ, а не для литературы.

У г. Зуева читаемъ въ монологѣ Русалки:

Что скажешь, князь? Какъ приглянулась дочь
Красавица, красавцемъ зачатая,—
Тобой! Въ тебя рожденная лицомъ.

[1]) Г. Южаковъ читаетъ вмѣсто «сказки» — «скажи». Г. Коршъ, напротивъ, предполагаетъ тутъ пропускъ и сочиняетъ этотъ пропускъ въ видѣ такого стиха:

Свои, вишь, деньги ей онъ отдалъ,

и слово «сказки» переноситъ въ конецъ сочиненнаго имъ стиха. Тогда слѣдующiй стихъ начнется словомъ «непраздною».

Кажется, достаточно неуклюжіе стихи, какихъ и у драматурга барона Розена не найдешь. Но г. Коршъ считаетъ ихъ Пушкинскими и только замѣчаетъ, что въ нихъ есть маленькая неточность: «зачинаетъ» собственно женщина», скромно говоритъ онъ. Очевидно, Пушкинъ забылъ объ этомъ, а г. Зуевъ могъ и не знать, будучи отрокомъ 14-ти лѣтъ. Это мои соображенія во вкусѣ нашего критика. «Въ тебя рожденная лицомъ»—фраза даже двусмысленная, какъ будто «лицо» кого-то родило, напр., «въ тебя рожденная лицомъ... извѣстнымъ». Критики указали на этотъ стихъ. Г. Коршъ отвѣчаетъ имъ, что говорится «уродиться въ кого», стало быть, въ стихахъ можно сказать и «родиться въ кого», ибо «поэтическій языкъ предпочитаетъ простые глаголы сложнымъ». Неужели даже въ томъ случаѣ, когда «простые глаголы» искажаютъ смыслъ? Вотъ тутъ слѣдовало бы привести примѣры изъ Пушкина для подтвержденія, но г. Коршъ не приводитъ, потому что такихъ примѣровъ онъ не нашелъ бы.

Въ томъ же монологѣ:

Румянецъ ты укралъ, покрылъ позоромъ.

Выходитъ, что румянецъ покрытъ позоромъ. Г. Коршъ это чувствуетъ и спѣшитъ на помощь, говоря: «При «укралъ» подразумѣвается «у меня», при «покрылъ»—«меня» или «мое лицо», и снова самъ сочиняетъ, вмѣсто г. Зуева, такъ:

Румянецъ ты укралъ, покрывъ позоромъ
Мое лицо; отъ слезъ потухли (?) очи.

Поддѣлка г. Корша все-таки плохая. «Покрылъ позоромъ мое лицо» — едва ли можно сказать: Князь покрылъ позоромъ дѣвушку, ея имя, ея человѣческое достоинство. Слѣдуетъ сказать: «покрылъ меня позоромъ».

Эта адвокатская защита могла бы сердить, еслибъ вы не чувствовали, что чѣмъ больше цитируетъ изъ Пушкина г. Коршъ, тѣмъ яснѣе, что самые несовершенные стихи Пушкина во сто кратъ лучше совершенныхъ стиховъ г. Зуева. Можно ли найти у зрѣлаго Пушкина даже въ наброскахъ такіе плохіе стихи:

За ревности сердечныя страданья,
За ночи, князь, съ разлучницей моей,
За ласки страстныя ея объятій—

вѣдь это дѣтство стихотворства подобные стихи, да еще для ритма со вставнымъ словомъ «князь», совершенно лишнимъ. А вотъ эти:

Любовью жаркою и страстной сердце бьется,
И ждутъ уста твой поцѣлуй желанный,
Истомный, сладкій, прежній поцѣлуй!

Эти стихи указывались критиками. Могъ ли Пушкинъ, всегда гибкій, точный и трезвый въ своихъ образахъ и краскахъ, поставить цѣлыхъ четыре слова для опредѣленія поцѣлуя? Конечно, нѣтъ. Самъ г. Коршъ говоритъ, что «образъ выраженія Пушкина отличается *даже въ стихахъ* такою *точностью и ясностью*, что въ этомъ отношеніи съ нимъ не по силамъ соперничать

и многимъ прозаикамъ». Но вѣдь мы имѣемъ дѣло съ адвокатомъ! Приведенные стихи взяты изъ монолога Русалки, вообще плохого и бездарнаго и по стихосложенію, и по мыслямъ; въ немъ всего 31 строка, но въ нихъ по крайней мѣрѣ 60 пошлыхъ словъ. Тутъ и «красавцемъ зачатая», и въ «тебя рожденная лицомъ», и «утро на зарѣ», и «любились мы» — пошлое выраженіе, Пушкинымъ не употреблявшееся никогда и едва ли народное [1]), и «блестѣли очи», и «угасли очи», и «пылали уста», и «уста поблекли», и «горькія слезы», и «сердечныя страданья», и «жаркая и страстная любовь», и «поруганная любовь», и «ласки страстныя», и дважды «день и ночь», и кромѣ «поцѣлуя желаннаго, истомнаго, сладкаго, прежняго», еще «уста поблекли, жаждой поцѣлуя палящею, ревнивою томясь». Неужели все это не бездарнѣйшая белиберда, съ позволенія сказать? У какого поэта, не говоря уже о Пушкинѣ, на пространствѣ 31 строки, можно найти столько пошлостей, цыганства и безсмыслія? Понятно, что послѣ такой белиберды, выговоренной Русалкой, Князь бросается въ Днѣпръ: марку эту дѣйствительно трудно выдержать, какъ кашинскій хересъ, прославленный И. Ѳ. Горбуновымъ.

[1]) Въ Словарѣ Даля на слово «любить» приведено много примѣровъ и изъ народной рѣчи. О словѣ «любиться» сказано только слѣдующее: «любить другъ друга; болѣе говорится о любви половой. *Любится и множится*». Отсюда можно заключить, что «любиться» не принадлежитъ народному языку.

Поддѣлка г. Зуева—это именно кашинскій херестъ...

Пушкинъ, какъ и всѣ даровитые драматурги, очень кратокъ относительно вводныхъ лицъ. Такъ это во всѣхъ его драматическихъ вещахъ, такъ и въ «Русалкѣ». Но г. Зуевъ какъ дошелъ до охотниковъ, такъ и написалъ однѣхъ ихъ рѣчей 66 строкъ, почти цѣлую треть всей «записи». И это очень понятно: охотники могутъ болтать всякій вздоръ, а вздоръ можетъ болтать и г. Зуевъ—для этого никакого таланта не требуется. И онъ устами охотниковъ болтаетъ, не думая о томъ, что въ драмѣ должно быть все гармонично, все на своемъ мѣстѣ. Пушкинъ выкидывалъ даже хорошіе стихи, если ему казалось, что они лишніе. Но и вздоръ этотъ показываетъ все поэтическое безсиліе поддѣльщика, ибо охотничьи рѣчи эти, написанныя очень плохимъ, яко бы народнымъ языкомъ, идутъ все о томъ, что уже извѣстно читателю изъ Пушкинской «Русалки», именно: о связи Князя съ Русалкой, о самоубійствѣ ея, беременности и проч., не представляя ни одного факта, не подвигая ни на волосъ дѣйствія. И эту-то сцену, по словамъ г. Зуева, Пушкинъ считалъ наилучшею во всей «Русалкѣ», вмѣстѣ съ хоромъ русалокъ и сномъ Княгини! Да вѣдь это смѣхъ! Вѣдь повѣрить г. Зуеву — значитъ вѣрить Хлестакову, который знакомъ былъ съ Пушкинымъ и обращался съ нимъ за панибрата. Или и профессоръ Московскаго университета такъ же легко вѣритъ

лгуну, какъ вѣрилъ ему городничій «Ревизора»? Онъ не только вѣритъ, но, по поводу этой сцены, тревожитъ тѣнь Шекспира.

Подобно Шекспиру, видите ли, который выводилъ въ своихъ драмахъ клоуновъ для «развлеченія» зрителя или для «раздраженія его чувствительности посредствомъ грубо-смѣшныхъ разговоровъ объ изображаемыхъ событіяхъ и рѣчахъ», и Пушкинъ (Зуевъ) написалъ сцену охотниковъ, «представляющую любовь Князя къ дочери Мельника въ грубомъ толкованіи грубыхъ людей»...

Отвѣчая одному изъ критиковъ, который указалъ на повторенія того, что уже извѣстно, на разсказы о случившемся, г. Коршъ ссылается на греческую трагедію. Помилуйте, говоритъ, да послѣ этого и Вѣстнику въ греческой трагедіи нельзя разсказывать? Но вѣдь Вѣстникъ разсказываетъ о томъ, что случилось, но что еще неизвѣстно зрителю, а г. Зуевъ о томъ, что извѣстно по самому дѣйствію драмы. Разница большая, не говоря уже о разницѣ греческой трагедіи и новой.

Въ рѣчахъ охотниковъ есть стихи безъ мѣры и стихи безъ смысла, напримѣръ:

Глядите, братцы!
Сказать, малютка вышла изъ воды.

Что это значитъ? Это значитъ, говоритъ г. Коршъ, что тутъ пропущено «точно», «слэзно», «какъ будто». Тамъ пропущено «у меня», «мое лицо», здѣсь «точно», «словно»! Однако г. Коршъ не

сочиняетъ ужъ самъ своего собственнаго стиха, такъ что стихъ и остается безсмысленнымъ.

Такимъ безсмысленнымъ языкомъ Пушкинъ никогда не писалъ, даже во времена своей юности, а за годъ до смерти и подавно писать не могъ ни въ какихъ черновыхъ набросках. Подобныхъ набросковъ очень много приводитъ г. Якушкинъ изъ «Евгенія Онѣгина» и нигдѣ тамъ нѣтъ и приблизительно такого безсмыслія, какъ въ «записи» г. Зуева. Вотъ еще примѣръ:

Прочь съ глазъ! *Продавецъ* дочери проклятый!

Ужъ не говоря о томъ, что Пушкинъ, какъ чуткій художникъ, не могъ вложить въ уста дочери проклятіе своему безумному отцу, какъ онъ могъ сказать *продавецъ?* Могъ, говоритъ г. Коршъ. Говорятъ же: книгопродавецъ, христопродавецъ, можетъ быть это слово «употребительно въ какомъ-нибудь говорѣ русскаго языка». Но развѣ Пушкинъ писалъ разными говорами русскаго языка? У него есть провинціализмы, но не уродства. Онъ удивительно облагородилъ русскій литературный языкъ художественною простотою и изяществомъ. Я могу предложить г. Коршу другое объясненіе, столь же авторитетное, какъ и его. Пушкинъ часто обращался съ книгопродавцами и такъ привыкъ къ этому слову, что и *продавецъ* употребилъ съ тѣмъ же удареніемъ, какъ въ словѣ книгопродавецъ. Думаю даже, что въ моемъ объясненіи болѣе если не правдоподобія, то хотя нѣкотораго остроумія.

Откладывая окончаніе моей бесѣды до завтра, спѣшу сказать, что изслѣдованіе г. Корша во всемъ томъ, что касается состава и ритма стиха Пушкина, заслуживаетъ и вниманія, и благодарности. До него никто такъ обстоятельно не говорилъ объ этомъ предметѣ и никто не вносилъ въ подобное изученіе столько тщательнаго и вполнѣ научнаго труда. Вообще со многимъ изъ того, что онъ говоритъ о Пушкинѣ, невозможно не согласиться. Тѣмъ непонятнѣе для меня его защита г. Зуева. Мнѣ иногда кажется, что онъ просто шутитъ, упражняется въ доказательствахъ, что дважды-два не четыре, а стеариновая свѣчка, и что «искусство для искусства»—хорошая вещь и въ критикѣ. Если не ошибаюсь, г. Ѳ. Коршъ сынъ Евг. Ѳед. Корша, человѣка очень остроумнаго, любителя парадоксовъ. Можетъ быть въ этомъ случаѣ сказалась наслѣдственная черта...

CCCLXVIII.

III.

(«Новое Время», 18-го января 1900 г., № 8582).

Почему Пушкинъ не окончилъ «Русалки»? Преимущественно по лѣности, догадывается г. Коршъ. Легкомысленная, хотя быть можетъ и ученая догадка. Мнѣ думается, что вопросъ этотъ важный для окончательнаго рѣшенія вопроса о поддѣлкѣ на основаніи внутренняго ея содержанія. По моему мнѣнію, онъ не окончилъ ея потому, что подошелъ къ сценѣ, требовавшей всего напряженія его таланта. Онъ остановился тамъ, гдѣ предстояло ему написать нѣчто вполнѣ достойное великаго поэта. Никогда такая трудная задача еще ему не представлялась. Живой отецъ—виновникъ гибели любимой женщины и дочь его — фантастическое лицо. Столкновеніе реальнаго съ фантастическимъ, свиданіе отца и дочери въ такихъ положеніяхъ, какія едва ли когда являлись во всемірной литературѣ. Все, что предшествуетъ этой сценѣ, для Пушкина было сравнительно легко, но тутъ былъ центръ драмы, ея сущность, ея идея, ея значеніе. Дѣло не столько въ томъ, что дѣвушка бросилась въ воду, но въ томъ главнымъ образомъ, что она унесла съ собою и другую жизнь—ребенка. Ка-

кую чудную сцену могъ написать Пушкинъ, какія краски, какія мысли явились бы подъ его перомъ. Недаромъ же онъ ввелъ Русалочку. Посылая на берегъ свою дочь, Русалка еще не знаетъ навѣрное, что выйдетъ изъ этого свиданія, но она не можетъ сомнѣваться въ томъ, что это свиданіе возбудитъ въ Князѣ и воспоминанія о прежней любви и пробудитъ въ немъ родительскія чувства. Интересъ въ драмѣ растетъ именно въ главномъ ея пунктѣ, онъ идетъ къ высшему ея подъему, который именно тутъ, въ этомъ свиданіи отца съ дочерью. Мнѣ думается, я не ошибаюсь, говоря о подобномъ замыслѣ поэта. Иначе, что же это за великій поэтъ, если онъ сдѣлалъ только то, что представилъ намъ г. Зуевъ въ своей яко бы «записи»? Онъ представилъ намъ такую плохую компиляцію изъ Пушкинской «Русалки», что просто становишься втупикъ передъ безвкусіемъ г. Корша, который одобряетъ и объясняетъ своего Данта, Зуева. Русалочка повторяетъ Князю слова своей матери, написанныя Пушкинымъ, иногда слово въ слово, иногда въ плохой перифразѣ, и предлагаетъ себя «поцѣловать и приласкать»: мать о томъ «меня просила»,—говоритъ она; дѣвочка—дочь мельничихи, никогда не скажетъ «мать меня просила». Рѣчь Русалочки заключена въ 30 стихахъ. Изъ нихъ 23 стиха взяты или почти слово въ слово, или съ незначительными измѣненіями, какъ плохой и расплывчатый пересказъ, изъ рѣчей Русалки въ первой сценѣ и въ пятой и

рѣчей Князя въ четвертой сценѣ. Если бы у меня было мѣсто, я доказалъ бы это наглядно, параллельными выписками [1]). Неправда ли, это по-Пушкински!? Г. Зуевъ сочинилъ только 7 стиховъ, которые г. Коршъ сочинилъ бы гораздо лучше. Князь беретъ дочь на руки и цѣлуетъ. Въ это время выходитъ Мельникъ и начинаетъ читать съ искаженіями и преувеличеніями Пушкинскія слова о воронѣ-Мельникѣ:

Не оскверняй невинныхъ устъ ребенка
Нечистыхъ устъ твоихъ нечистой лаской.
У ворона—я воронъ—клювъ остеръ,
И когти есть: онъ защитить сумѣетъ:
Онъ крыльями могучими собьетъ (съ ногъ?)
И острыми когтями сердце вырветъ (у тебя?),
Онъ очи выклюетъ, княжія очи!
И дочери на дно рѣки пошлетъ
Подарочекъ. Пусть тѣшится подаркомъ.

Мельникъ бросается на Князя. Русалочка кричитъ. Является Русалка, говоритъ отцу, что онъ «*продавецъ*, дочери проклятый» и затѣмъ тотъ самый нелѣпый монологъ, состоящій изъ подбора сладострастныхъ и пошлыхъ словъ, о которомъ я говорилъ вчера, и скрывается въ воду. Князь бросается туда же, сказавъ:

Нѣтъ, не разлучусь съ тобою,
Жить безъ тебя, безъ нашего ребенка
Не въ силахъ... Лучше смерть въ твоихъ объятьяхъ...

[1]) См. послѣдующія письма, VII и VIII.

Г. Коршу очень нравится эта сцена, исключая трехъ послѣднихъ строкъ Мельника (объ «очахъ княжіихъ»), которыя онъ старается передѣлать, но вотще! «Запись г. Зуева, говоритъ онъ, изображаетъ смерть героя такъ коротко, какъ только возможно (сказать къ слову, совсѣмъ по-Пушкински (?): князь произноситъ два съ половиной стиха, бросается въ воду—и сценѣ конецъ». Почему «по-Пушкински»,—неизвѣстно. Пушкинъ никогда не былъ бездарностью. А тутъ все пошло. Никакого чувства, никакой психологіи, ни единаго правдиваго и поэтическаго стиха, никакой правды въ рѣчахъ Русалочки, изъ которой Пушкинъ сдѣлалъ бы дивное созданіе, полное наивности и поэзіи. Репортерскій отчетъ о самой внѣшней сторонѣ подобной сцены былъ бы написанъ гораздо лучше. Въ ней все фальшиво, все несносно по своей лжи, по языку, по отсутствію всякой мысли. Не разбираю трехъ послѣднихъ стиховъ монолога Мельника, какъ забракованныхъ за грубость и неуклюжество самимъ адвокатомъ г. Зуева. Но вникните въ остальные выписанные стихи. У Пушкина воронъ, которымъ считаетъ себя Мельникъ, весьма обыкновенная птица, всѣмъ извѣстная, только съ «сильными» крыльями, чтобъ поднять Мельника и дать ему возможность летать. Онъ «клюетъ мертвую корову», сидитъ «на могилѣ и каркаетъ». Пушкинъ такъ точенъ, что отмѣтилъ *господствующую* черту ворона, который всему предпочитаетъ именно падаль. Его воронъ-Мель-

никъ не думаетъ на кого-нибудь нападать, говоритъ о своей шаловливости и боится, чтобы Князь не удавилъ его ожерельемъ. Сумасшедшій, воображающій себя ворономъ, иначе и не можетъ себя вообразить, какъ со свойствами и нравами этой птицы, хорошо ему извѣстной, совсѣмъ не страшной, не имѣющей и «клюва остраго»,—клювъ у ворона толстый, согнутый, конусообразный. Одинъ изъ небезызвѣстныхъ русскихъ весьма чиновныхъ людей, въ шестидесятыхъ годахъ, сойдя съ ума, вообразилъ себя свиньей и ѣлъ не иначе, какъ изъ корыта, и поступалъ, какъ свинья. У г. Зуева—прямой мелодраматическій, неестественный воронъ, ничего подобнаго себѣ не имѣющій въ природѣ. У него крылья «могучія», которыми онъ «собьетъ»—подразумѣвается «съ ногъ», конечно—а когтями онъ «сердце вырветъ». По безграмотности этихъ стиховъ выходитъ, что воронъ и крыльями можетъ сердце вырвать. Курьезенъ стихъ: «Я воронъ—у ворона»... Первые два стиха тоже не въ духѣ Мельника, который нигдѣ не выражается у Пушкина высокопарно. Если поискать, то подобные стихи можно найти у Кукольника, какъ и указывали уже на это критики «записи»: они совершенно въ его манерѣ. Но главное, что бросается въ глаза даже при бѣгломъ чтеніи этой сцены—это молчаніе Князя. У Пушкина онъ говоритъ при видѣ Русалочки:

Откуда ты, прелестное дитя?

На этомъ обрывается его «Русалка». Продолжая ее, г. Зуевъ даетъ Князю только слова: «Дитя!..», потомъ: «Но кто же ты?»и наконецъ два стиха:

Дочь! Боже, дочь русалка! Иль схожу
И я съ ума, какъ старый, бѣдный мельникъ!

Конечно, г. Коршъ можетъ сказать и тутъ, «что это такъ кратко, какъ возможно» и «совсѣмъ по-Пушкински». Въ самомъ дѣлѣ кратко: всего 19 словъ, считая и такія, какъ *я, съ, и, но, кто, же, ты*. Не предполагая даже, что Пушкинъ остановился передъ этой сценой, потому что она казалась ему чрезвычайно трудной и важной, эта краткость ничего собою не изображаетъ, кромѣ бездарности плохого стихотворца, лишеннаго всякой фантазіи. Только самый ординарный стихоплетъ можетъ написать подобную сцену такъ безнадежно плохо. Для Русалочки у него были стихи самого Пушкина, какъ сказано выше, для Мельника тоже былъ матеріалъ въ словахъ Пушкина о вòронѣ. Но рѣчи Князя надо было написать самому, надо было знать человѣческую душу, ея страданія, ея радости, отцовскую любовь, мгновенно проснувшуюся и вызвавшую у него небывалыя движенія души. Надо помнить, что прямымъ доказательствомъ тому, что подобное состояніе Князя Пушкинъ имѣлъ въ виду, служатъ слова Княгини (третья сцена):

Когда-бъ услышалъ Богъ мои молитвы
И мнѣ послалъ дѣтей, къ себѣ тогда бы
Умѣла вновь я мужа привязать.

У Княгини не было дѣтей и Князь не зналъ родительскаго чувства. Оно именно тутъ, при свиданіи съ дочерью, должно было родиться и вызвать у него не краткія восклицанія, ничего не выражающія, а рѣчи полныя чувства и мыслей, чрезвычайный подъемъ всего его существа. Семья тогда только семья, когда есть дѣти, и дѣти—то связующее звено между мужчиной и женщиной, которое скрѣпляетъ любовь и даетъ вѣчный смыслъ семьѣ. Во имя этого смысла онъ и вывелъ Русалочку. Всякій чувствующій читатель легко себѣ это вообразитъ и пойметъ. Какъ же великій поэтъ, т.-е. человѣкъ, которому Богомъ открыты такія области, какихъ мы, обыкновенные люди, не видимъ съ такою яркостью, какъ онъ,—какъ же этотъ поэтъ, такъ хорошо знавшій любовь, ненависть, ревность, знавшій любовь къ дѣтямъ, могъ ограничиться въ подобной сценѣ почти одними междометіями? И Князь могъ броситься и въ Днѣпръ (такое окончаніе еще Бѣлинскій подсказалъ), но къ какому концу привелъ бы насъ поэтъ, угадать невозможно; во всякомъ случаѣ, это случилось бы совсѣмъ не такъ, какъ у г. Зуева съ его краткостью и мелодраматизмомъ плохой французской пьесы. Краткость тогда хороша, когда она исполнена яркой мысли, высокаго полета, а не тогда, когда она полна только безграмотности и пустыхъ словъ и восклицаній. Допустить, что Пушкинъ написалъ эту сцену такъ возмутительно плохо, значитъ допустить, что въ концѣ

своей жизни Пушкинъ весь выдохся, потерялъ не только всякій талантъ, но даже чувство стихотворной рѣчи и превратился въ жалкаго стихокропателя и компилятора изъ собственныхъ своихъ произведеній.

Я принужденъ отложить, по недостатку мѣста, окончаніе моего «изслѣдованія» до завтра.

CCCLXIX.

IV.

(«Новое Время», 20-го января 1900 г., № 8584).

Механическо-филологическій пріемъ, примѣненный г. Коршемъ къ Зуевской поддѣлкѣ подъ Пушкина, меньше всего можетъ быть приложенъ къ поэтическимъ произведеніямъ въ стихахъ, гдѣ большую роль играетъ гармонія и другія свойства, отличающія стихи отъ прозы. Если взять поэтовъ Пушкинской эпохи и даже драматурговъ того времени и употребить такой же филологическій пріемъ для сравненія, то окажется, что всѣ они Пушкины, только въ степени превосходной передъ г. Зуевымъ. Великій поэтъ умалится до послѣдняго своего подражателя, потому что чѣмъ больше рабства у подражателя, чѣмъ болѣе онъ списываетъ, тѣмъ болѣе онъ будетъ походить на Пушкина при

такихъ пріемахъ. Какъ можно сравнивать великаго поэта съ малымъ, указывая на то, что у того и другого такіе-то формы и обороты, такіе-то неправильные стихи, такія-то любимыя выраженія. Нѣсколько страницъ изъ великаго поэта и изъ малаго скажутъ вамъ о ихъ значеніи гораздо больше, чѣмъ цѣлые томы филологическихъ изысканій въ родѣ слѣдующаго, который беру изъ Корша и который даетъ понятіе о его чисто формальныхъ пріемахъ:

«Построеніе этого мѣста [1]) вполнѣ Пушкинское: здѣсь мы находимъ параллелизмъ трехъ п едложеній, которыхъ глаголы поставлены въ неопредѣленномъ наклоненіи, и двухъ съ глаголами въ изъявительномъ прошедшаго времени, градацію первыхъ трехъ параллельныхъ членовъ, единоначатіе въ двухъ послѣдующихъ и возрастающую плавность стиховъ (??) сообразно съ усиленіемъ чувства, выражающимся въ градаціи, а затѣмъ, по переходѣ отъ воображаемыхъ картинъ къ унылому размышленію, снова два стиха, менѣе правильныхъ»...

Вотъ какими учеными соображеніями втираютъ намъ очки: параллелизмъ, единоначатіе, градація и проч.

Гораздо убѣдительнѣе этихъ фокусовъ простой ариѳметическій подсчетъ. У г. Зуева 228 сти-

[1]) Стихи, по нашему изданію, 189—195, свидѣтельствующіе только о стариковскомъ сладострастіи, чѣмъ Пушкинъ никогда не страдалъ.

ховъ. Изъ нихъ, какъ уже сказано, 66 (вмѣстѣ съ тремя стихами, сочиненными г. Коршемъ для объясненія явной безсмыслицы—69) заняты безсвязной и ненужной болтовнею охотниковъ, т.-е. почти треть всего произведенія г. Зуева, и для него это въ порядкѣ вещей. Но для Пушкина—такое предпочтеніе охотниковъ, лицъ вводныхъ, всѣмъ другимъ лицамъ драмы — безсмыслица, исключающая всякое представленіе о движеніи, гармоніи и смыслѣ драмы. Исключивъ изъ счета Зуевскій хоръ русалокъ, главнымъ дѣйствующимъ лицамъ остается: Русалочкѣ—41 стихъ, Мельнику—14, Княгинѣ—36, изъ нихъ 23 стиха—разсказъ о ея снѣ, ничего не прибавляющій къ дѣйствію и ея характеристикѣ, Русалкѣ — 33 стиха и Князю—5. Всего 129 стиховъ, т. е. только почти вдвое болѣе противъ того, что дано болтовнѣ охотниковъ! Какое же тутъ соотвѣтствіе! Можно ли себѣ вообразить даже набросокъ Пушкина въ такомъ безобразіи! И неужели эти цифры не краснорѣчивы и не говорятъ даже однѣ, что мы имѣемъ дѣло съ явной поддѣлкой? Не говорю уже о томъ, что въ этихъ 129 стихахъ большая часть составляетъ дословное или близкое повтореніе тѣхъ же фразъ, мыслей и фактовъ, какіе находятся въ Пушкинской «Русалкѣ», и останется какихъ-нибудь 50 стиховъ и притомъ плохихъ, которые соорудилъ посредствомъ своей жалкой фантазіи г. Зуевъ. Хоръ русалокъ въ поддѣлкѣ—сколокъ съ Пушкинскаго, слабое подражаніе и по фак-

турѣ стиховъ, и по ихъ смыслу. Г. Южаковъ (стр. 129 и 135 этой книги) находитъ этотъ хоръ Пушкинскимъ. Другіе критики доказываютъ, что онъ плохъ. Разберемъ его. У Пушкина (сц. IV) Русалки:

Веселой толпою,
Съ глубокаго дна,
Мы ночью всплываемъ,
Насъ грѣетъ луна.

У Зуева:

Туманной росою
Окрестность полна.
Смолкъ шумъ *надъ землею* (на землѣ?),
Не ропщетъ волна.

Не только размѣръ, но даже риѳмы совсѣмъ похожія. Въ третьей строкѣ у Пушкина нѣтъ риѳмы, у г. Зуева очень плохая и самый грамматическій строй этого стиха едва ли правильный и неправильный ради риѳмы, хоть какой-нибудь. Далѣе:

Звѣзды меркнутъ, и блѣднѣя
Свѣтитъ *мѣсяцъ золотой*—

мѣсяцъ не золотой уже, когда меркнутъ звѣзды. Г. Коршъ это признаетъ, но оправдываетъ своего любимца, говоря, что здѣсь «золотой» придано къ мѣсяцу, такъ сказать, «злоупотребительно, въ качествѣ постояннаго эпитета, въ примѣненіи котораго не различаются частные случаи». Пусть такъ. У Пушкина (сцена IV) Русалки говорятъ, послѣ полуночи, когда уже «пѣтухи пропѣли»:

Поздно, волны охладѣли.

У Зуева русалки только что выплыли утромъ, когда «ночь встрѣчается съ зарей» и ужъ заявляютъ, что «волны стали холоднѣе». Для г. Корша это ничего не значитъ: если Пушкинъ «засвидѣтельствовалъ», что ночью вода «холоднѣе», то и г. Зуевъ могъ засвидѣтельствовать, что вода и утромъ «холоднѣе». Противъ этого спорить трудно, но невозможно допустить, чтобы Пушкинъ повторялъ одно и то же, заставляя русалокъ измѣрять температуру утромъ и вечеромъ. Затѣмъ г. Зуевъ:

Огоньки зажглись, *блуждаютъ*...

«Тому, кто видалъ издали деревню передъ разсвѣтомъ, этотъ стихъ напомнитъ знакомое зрѣлище то тамъ, то сямъ появляющихся огоньковъ, то неподвижныхъ, то переходящихъ съ мѣста на мѣсто, *среди мрака* и тишины». Такъ коментируетъ этотъ плохой стихъ г. Коршъ. Не такъ это на дѣлѣ. Огни зажигаются, но почему они *блуждаютъ?* Я выросъ въ деревнѣ въ то время, когда не знали еще тамъ спичекъ; огонь или высѣкали изъ кремня, или вздували изъ углей; у кого не было углей, тотъ занималъ ихъ у сосѣда и, перенеся къ себѣ въ избу, вздувалъ огонь. Такъ было и въ то время, когда происходитъ дѣйствіе Пушкинской драмы. Съ фонарями по деревнѣ не ходили. Со свѣчами ходятъ ночью въ великій четвергъ, возвращаясь изъ церкви домой послѣ чтенія 12 евангелій и стараясь донести огонь до избы и выжечь имъ на притолокахъ кресты.

Откуда же это блужданіе огоньковъ, видимое русалками, да еще утромъ? Г. Коршъ самъ не знаетъ, ибо даже забываетъ, что дѣло происходитъ утромъ, на зарѣ, при мѣсяцѣ, ибо въ своемъ коментаріи къ этому стиху преспокойно говоритъ, что «огоньки переходятъ съ мѣста на мѣсто среди *мрака* и тишины». Ему надо, чтобъ огоньки блуждали, и они блуждаютъ; онъ знаетъ, что видѣть блуждающіе огоньки можно только среди мрака, онъ сочиняетъ *мракъ*. Но въ то же самое время и для тѣхъ же цѣлей оправданія безсмыслицы и набора словъ онъ сочиняетъ такую яркую зарю, что брызги волнъ «отливаютъ при свѣтѣ ея цвѣтами радуги», коментируя вотъ эти два темные стиха:

Пѣну гребнемъ надъ волнами
Пылью радужной взбивать,

и умалчиваетъ о стихѣ:

Предъ разсвѣтными лучами.

Такого стиха и у плохого поэта не найдешь, ибо «предразсвѣтными» и «предъ разсвѣтными» звучитъ совершенно одинаково, и въ чтеніи это прямая безсмыслица: выйдетъ, что русалки «играютъ предразсвѣтными лучами», а не «предъ разсвѣтными».

Г. Коршъ правъ, отвѣчая одному критику, что соловьи поютъ почти всю ночь и на вечерней и утренней зарѣ, но зато онъ доходитъ до па-

ѳоса своей защиты поддѣльщика, говоря о стихѣ, гдѣ русалки говорятъ:

Пронесемтесь надъ рѣкою.

Г. Буренинъ сказалъ, что русалки собираются пролетѣть надъ рѣкою, а не проплыть по ней. Коршъ начинаетъ давать изъ Пушкина примѣры, гдѣ нашъ поэтъ «мыслію бродилъ въ краю чужомъ», гдѣ онъ «въ мечтахъ держалъ стремя», какъ онъ «улеталъ въ лицейскій уголокъ сладостной мечтою», какъ «мечтою» онъ «любилъ летать» и т. д., какъ будто это что-нибудь доказываетъ. Пушкинъ, какъ и всѣ, могъ летать мечтою, но чтобы *русалкамъ пронестись надъ рѣкою* — надо было дѣйствительно летать. Плаваютъ по рѣкѣ или на рѣкѣ, или въ рѣкѣ, но надъ рѣкою плавать нельзя. Но г. Коршъ прибѣгаетъ къ «самоповтореніямъ» Пушкина и говоритъ: «Трудно понять «надъ» буквально, т. е. какъ бы сверху, безъ прикосновенія къ предмету, находящемуся внизу, также въ слѣдующемъ мѣстѣ отрывка «Сонъ»:

Еще роса надъ свѣжей муравой

и въ первой пѣснѣ «Руслана и Людмилы»:

Едва не пляшетъ надъ сѣдломъ.

Чтобъ судить о послѣднемъ выраженіи, надо взять этотъ стихъ съ предыдущими и послѣдующими:

Хазарскій ханъ, въ умѣ своемъ
Уже Людмилу обнимая,
Едва не пляшетъ надъ сѣдломъ;

Въ немъ кровь играетъ молодая,
Огня, надежды полонъ взоръ;
То скачетъ онъ во весь опоръ,
То дразнитъ бѣгуна лихого,
Кружитъ, подъемлетъ на дыбы,
Иль дерзко мчитъ на холмы снова.

Всадникъ держится на стременахъ и Пушкинское выраженіе «едва не пляшетъ *надъ* сѣдломъ» вполнѣ правильное и прекрасное.

Если же можно критиковать первое выраженіе изъ отрывка «Сонъ», то надо помнить, что этотъ отрывокъ написанъ Пушкинымъ, когда ему было 16 лѣтъ, а по г. Зуеву онъ окончаніе «Русалки» написалъ 37 лѣтъ. Невозможно мѣрить 16-лѣтняго, хотя и геніальнаго поэта, одною и тою же мѣркою и въ 16, и въ 37 лѣтъ. Это, кажется, ясно, какъ день. Но у г. Корша постоянно одна и та же мѣрка для зрѣлаго мужа и юноши, и въ данномъ случаѣ онъ выводитъ такое заключеніе изъ этого случая съ русалками, несущимися «*надъ рѣкою*» и «росою *надъ* свѣжей муравой»: «И такъ (??), здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ ошибкой неумѣлаго фальсификатора, а *съ особенностію Пушкинскаго языка*, что знаменательно тѣмъ болѣе, чѣмъ легче эта особенность ускользаетъ отъ вниманія».

Такъ вотъ какъ познаются «особенности» Пушкинскаго языка! И какъ тутъ дико звучитъ это слово «знаменательно»!

Одинъ изъ критиковъ «записи» находилъ недурнымъ разсказъ Княгини о своемъ снѣ. Г. Коршъ останавливается на этомъ съ осо-

бенною любовью. По замыслу сонъ этотъ очень вычурный, а по стихамъ — очень банальный и плохой. Въ немъ такія выраженія, какъ «въ яхонты рядилась кровавые, блестящіе, большіе», рядъ эпитетовъ въ родѣ «желанный, истомный, сладкій, прежній поцѣлуй». Г. Буренинъ замѣтилъ, что *кровавые* яхонты «слишкомъ кричащій эпитетъ, а «*большіе*» — совершенно лишній». Г. Коршъ, отвѣчая ему, не одобряетъ слово «блестящіе» и предлагаетъ слово «большіе» замѣнить словомъ «тяжелые», по вѣсу; о «кровавыхъ» замѣчаетъ, что этотъ эпитетъ «показываетъ тотъ страхъ, который яхонты внушили Княгинѣ своей зловѣщей красотой». Вотъ до чего можетъ договориться коментаторъ поддѣльщика, не находящій у Пушкина соотвѣтствующаго стиха.

А вѣдь этотъ стихъ есть. Я нашелъ его въ «Анджело». На вопросъ Анджело, что бы она рѣшила въ умѣ своемъ, еслибъ ей предложили искупить казнь ея брата своимъ паденьемъ, Изабелла отвѣчаетъ:

Для брата, для себя рѣшилась бы скорѣй,
Повѣрь, *какъ яхонты, носить рубцы бичей*,
И лечь въ *кровавый* гробъ спокойно, какъ на ложе,
Чѣмъ осквернить себя.

Г. Коршъ это мѣсто проглядѣлъ и прибѣгъ, поэтому, къ «зловѣщей красотѣ яхонтовъ» и «страху». Не прогляди онъ этого мѣста, онъ непремѣнно оправдалъ бы Зуевскіе «кровавые яхонты» ссылкой на эти стихи Пушкина. Ему стоило-бы сказать, что Пушкинъ самоповторился, заимствовавъ это выраженіе у Шекспира. Шекспировскій стихъ

можно буквально перевести такъ: «Отпечатокъ рѣзкихъ плетей я бы носила, какъ рубины» [1]). Несомнѣнно, Шекспиръ имѣлъ въ виду рубины, которые у насъ назывались въ старину яхонтами, уподобить кровавымъ рубцамъ плетей, помимо того, чтобъ выразить гордость непреклонной дѣвушки своей чистотой: она и рубцы плетей носила бы, какъ рубины. Очень возможно, что г. Зуевъ зналъ это сравненіе изъ «Анджело», но, по своему безвкусію и бездарности, и притомъ сейчасъ же, въ слѣдующемъ стихѣ встрѣтивъ слово «кровавый», назвалъ рубины просто «кровавыми», какъ могъ бы назвать ихъ «виноградными», вспомнивъ, что у Крылова есть: «кисти сочныя, какъ яхонты горятъ», а у Пушкина, въ «Бахчисарайскомъ фонтанѣ», есть выраженіе: «янтарь и яхонтъ винограда»...

Княгиня говоритъ о себѣ:

Изъ водныхъ струй сотканною фатой
Покрылась и, блистая красотой,
Съ улыбкою въ храмъ Божій я вступила.

Одинъ изъ критиковъ «записи» замѣтилъ, что «блистая красотой»—«банальность». Г. Коршъ сейчасъ же приводитъ изъ Пушкина:

Увы, зачѣмъ она блистаетъ
Минутной, нѣжной красотой;

[1]) The impression of keen whips I'd wear as rubies. Въ переводѣ «Мѣры за мѣру» (Measure for measure) Ө. Б. Миллера—«Анджело» есть пересказъ этой драмы—этотъ стихъ переданъ такъ:

Когда-бъ на мнѣ лежали, какъ рубины,
Рубцы отъ бичеванья.

или:

Красою дѣвственной блистая,

или изъ Вольтеровой «Дѣвственницы»:

Могучею блистая красотой,
Она была подъ юбкою герой,

и проч., и проч. Но г. Коршъ не сообразилъ, что во всѣхъ этихъ Пушкинскихъ примѣрахъ — все это слова *самого* поэта, *его* впечатлѣнія отъ красоты. Княгиня же *сама* о себѣ говоритъ: «блистая красотою», и вотъ этого у Пушкина никакой г. Коршъ не найдетъ, потому что это ни съ чѣмъ несообразно, противорѣча ея характеру древне-русской княгини. Кстати, русалки у г. Зуева тоже говорятъ о себѣ: «блистая красотой». Такимъ образомъ, Княгиня и русалки одинаково выражаются. «Изъ водныхъ струй сотканною фатой» г. Зуевъ могъ образовать изъ стиховъ въ «Русланѣ и Людмилѣ», гдѣ говорится, что кудри, грудь и плечи покрылись «фатой прозрачной, какъ туманъ» и, по своему обыкновенію, плохо образовалъ, ибо ткать водныя струи—никакой княгинѣ не можетъ придти на умъ, какою бы она ни обладала фантазіей. Тутъ же:

Не аксамитъ, а зеркало, какъ ледъ
Холодное, *постлали* предъ налоемъ.

«Постелите мнѣ зеркало!» — говоритъ ваша супруга горничной. Это означаетъ, что она занимается поэзіей, а не заговаривается. Вы скажете, что это шутка дурного тона. Но хорошъ

ли тонъ ученаго филолога, который прямо говоритъ, что «зеркало постлали» возможно въ поэзіи. Конечно, возможно, только въ какой поэзіи? Вѣдь есть и безсмысленная «поэзія».

Въ рукахъ погасли свѣчи
И тамъ, внизу, *на зеркалѣ* зажглись.

Г. Коршъ замѣчаетъ: легко было бы устранить эту неточность (*въ* зеркалѣ вмѣсто *на* зеркалѣ), сказавъ такъ:

И *подо мною*, въ зеркалѣ зажглись».

Ну, если *подъ нею* зажглись свѣчи, то странно, какъ она могла это увидѣть. Впрочемъ «въ поэзіи» возможенъ всякій вздоръ, какъ и въ толкованіяхъ г. Корша. Этотъ удивительно парадоксальный человѣкъ, найдя во *всемъ* Пушкинѣ только *два* неправильныхъ стиха, въ которыхъ *его* надо выговаривать съ удареніемъ на *е*, оправдываетъ у г. Зуева всевозможные неправильные стихи; но, найдя во всемъ Пушкинѣ только *одинъ* неясный стихъ, написанный имъ въ молодости, онъ строго замѣчаетъ: «Уже самая необходимость толкованія, да еще *неизбѣжно болѣе или менѣе натянутаго и спорнаго*, отнюдь не говоритъ въ пользу ясности выраженія». Но когда дѣло идетъ о г. Зуевѣ, г. Коршъ только ему кланяется и благодаритъ.

Далѣе Княгиня выступаетъ въ качествѣ знатока панихиды, увѣряя, что пѣвчіе пѣли:

Со святыми упокой
Рабовъ твоихъ, Владыко, *въ царствѣ свѣта*!

Во всей панихидѣ такого выраженія нѣтъ. Говорится о «селеніяхъ праведныхъ», о «небесныхъ чертозѣхъ», о праведникахъ, которые «сіяютъ, яко свѣтила», о «мѣстѣ свѣтлѣ, мѣстѣ злачнѣ, мѣстѣ покойнѣ», о «свѣтѣ животномъ», но о «царствѣ свѣта» ни одного слова. Очевидно, Княгиня это сочинила, по внушенію Зуева, совершенно не кстати.

Далѣе:

Хоръ пѣвчихъ «со святыми упокой!»
Пропѣлъ и мнѣ, и князю.

Одинъ изъ критиковъ (г. Буренинъ) замѣтилъ, что «хоръ пѣвчихъ отзывается современностью и не идетъ къ складу народной легенды, такъ превосходно выдержанному въ Пушкинскихъ сценахъ пьесы». Какъ же отвѣчаетъ г. Коршъ на это вѣрное замѣчаніе? А очень просто: онъ говоритъ, что «у Пушкина было иное представленіе», чѣмъ у критика, ибо въ его стихотвореніи «Безвѣріе» есть слова «при сладкомъ хоровъ пѣньѣ», а это «Безвѣріе» читано было Пушкинымъ на выпускномъ экзаменѣ, когда Пушкину только что исполнилось 18 лѣтъ. Какое право у г. Корша говорить, что у Пушкина «было иное представленіе»? Мало ли какія у него были представленія въ 18 лѣтъ—неужели онъ такъ ихъ всѣ сохранилъ, предвидя «изслѣдованіе» г. Корша? Очевидно, опять тотъ же пріемъ: объяснять языкъ и понятія 37-ми-лѣтняго Пушкина языкомъ и понятіями 18-ти-лѣтняго юноши.

Г. Зуевъ кончаетъ драму смертью Княгини и словами Мамки:

Умерла!
Въ сонмъ ангеловъ прими ее, Всевышній!

Это та самая Мамка, которая у Пушкина такъ остроумна и такъ народна. У г. Зуева она говоритъ, какъ архіерей.

Кстати. Замѣчательно, какъ les beaux ésprits se rencontrent. У меня есть книга: «Осенніе листы. Собраніе стихотвореній Антонія Крутогорова. Спб. 1866 г.». Въ этой книгѣ есть «Русалка. Окончаніе къ драмѣ Пушкина». Произведеніе плохое, но болѣе обширное и сложное, чѣмъ Зуевское. Между обоими произведеніями однако не мало сходныхъ чертъ. Оканчиваетъ драму г. Крутогоровъ тоже смертью Княгини и тоже восклицаніемъ Мамки:

Ахти!
Что будетъ съ нимъ-то, съ круглымъ сиротою?

Восклицаніе этой Мамки естественнѣе, чѣмъ у г. Зуева.

Я долженъ еще остановиться на томъ, какъ г. Коршъ защищаетъ этотъ стихъ Зуевской Мамки отъ г. Якушкина, который сказалъ, что это выраженіе означаетъ попросту «Царство небесное» (см. стр. 100 этой книжки). Г. Коршъ находитъ, что «Царство небесное» слишкомъ обычное выраженіе, а «заключительная фраза должна оставить извѣстное впечатлѣніе въ душѣ читателя или слушателя». Пушкинъ не могъ прибавить къ «Цар-

ство небесное»—«ну», «охъ», «что-жъ», а безъ такихъ прибавокъ не вышелъ бы стихъ. «Поэтому оставалось, продолжаетъ нашъ ученый, придать обычной въ такихъ случаяхъ мысли такую форму, которая сообщила бы ей торжественность, утраченную въ обычномъ ея выраженіи, и безъ натяжки принаровила бы ее къ ритмическому строю предшествующей рѣчи». Все это говорится, какъ видите, съ серьезностью изумительной, какъ будто дѣло идетъ о чемъ-то чрезвычайно важномъ. Но серьезность подкупаетъ, а г. Коршъ чувствуетъ себя свободнымъ съ Зуевымъ, подозрѣвая въ немъ Пушкина, и легко и свободно находитъ поправки и даже подсказываетъ выраженія творческой душѣ поэта. И вотъ и тутъ онъ начинаетъ читать въ душѣ поэта и потомъ диктовать ему такъ:

По его мнѣнію, Пушкинъ написалъ стихъ «Въ сонмъ ангеловъ» и проч., потому что вспомнилъ слова Гораціо въ «Гамлетѣ», или стихи изъ 16-й сцены «Бориса Годунова» («Царь Небесный пріялъ меня въ ликъ ангеловъ своихъ»), или стихъ изъ «Сказки о Мертвой Царевнѣ» («Духъ твой примутъ небеса»)... «Безъ этихъ воспоминаній, продолжаетъ нашъ ученый, поэтъ остановился бы, можетъ быть, на какой-нибудь болѣе простой редакціи, напр.

Прими, Господь, ее въ свою обитель,

или:

Ея душѣ въ раю дай мѣсто, Боже».

Никто еще такъ свободно не подсказывалъ

Пушкину, ибо никто не подозрѣвалъ въ немъ бездарнаго поэта, какимъ онъ оказывается по толкованіямъ г. Корша.

Выписываю заключенія г. Корша:

«Значительная часть возраженій критиковъ противъ подлинности конца «Русалки», сообщеннаго г. Зуевымъ, оказываются несостоятельными въ своемъ основаніи, потому что 1) Пушкинъ не достигъ безусловнаго совершенства, особенно въ частностяхъ, которыя впрочемъ требуютъ еще пересмотра по рукописямъ и старымъ изданіямъ; 2) «Русалка» и въ прежде написанныхъ частяхъ не была окончательно отдѣлана Пушкинымъ, а въ позднѣйшихъ могла быть обработана менѣе, но ужъ никакъ не болѣе; 3) самыя подозрительныя мѣста въ записи г. Зуева заключаютъ въ себѣ ошибки, тѣмъ менѣе удивительныя, что даже при перепискѣ бумагъ Пушкина въ печатный текстъ его сочиненій вкралось не мало погрѣшностей, а кое-что въ его черновыхъ рукописяхъ, къ которымъ принадлежалъ, вѣроятно, и конецъ «Русалки», до сихъ поръ еще не разобрано.

«Запись г. Зуева представляетъ естественное продолженіе напечатанныхъ въ 1837 г. сценъ «Русалки», что отчасти подтверждается прототипомъ этой драмы (кромѣ первой сцены), пѣснью о Янышѣ-Королевичѣ и даже программой «Русалки» въ бумагахъ Пушкина. Нѣкоторыя повторенія изъ первой части не таковы, чтобы заставляли насъ видѣть во второй другую редакцію, такъ какъ онѣ касаются подробностей,

легко устранимыхъ при окончательной обработкѣ. Эти повторенія, особенно если принять въ расчетъ варіанты въ первой части, свидѣтельствуютъ какъ будто о колебаніи въ выборѣ подходящаго мѣста для внесенія пришедшихъ поэту въ голову мотивовъ или выраженій.

«За исключеніемъ очевидныхъ погрѣшностей, проскользнувшихъ въ запись по запамятованью, и нѣкоторыхъ неудачныхъ выраженій, естественныхъ въ первомъ наброскѣ, текстъ г. Зуева не содержитъ въ себѣ почти ни одного оборота или слова, которыхъ не оказывалось бы въ безспорныхъ произведеніяхъ Пушкина. То же можно сказать и о реторической и метрической сторонѣ этого текста, причемъ сходство распространяется на такія тонкости, которыя до сихъ поръ никѣмъ не были замѣчены».

Далѣе комическое возглашеніе: «Гдѣ у насъ тотъ поэтъ и вмѣстѣ знатокъ Пушкина, который могъ бы написать то, что сохранилъ отъ забвенія Д. П. Зуевъ»? Возглашеніе совершенно естественное у филолога, который такъ самоотверженно старался поддѣлать г. Зуева подъ Пушкина, у адвоката, который сваливалъ всю вину своего кліента на другого, невиновнаго человѣка, который слишкомъ великъ, чтобъ къ его произведеніямъ приставили когда-нибудь не только вирши г. Зуева, но и вирши самого г. Корша.

Г. Бартеневъ, печатая поддѣлку, рекомендовалъ г. Зуева «маститымъ старцемъ», который постоянно услаждается твореніями великаго по-

эта». Онъ умѣлъ писать стихи. Возможно, хотя и сомнительно, что онъ слышалъ разговоръ Пушкина съ Губеромъ о «Русалкѣ», который завязъ въ его памяти. Прошли годы. Не попробовать ли окончить «Русалку»? Онъ сталъ работать надъ этимъ окончаніемъ, работалъ долго и постепенно увѣрялся въ томъ, что его окончаніе очень хорошо и можетъ быть принято за Пушкинское. У непризнанныхъ поэтовъ такое самомнѣніе дѣло обыкновенное. Но онъ зналъ судьбы «окончаній». Выдай онъ окончаніе «Русалки» за *свое сочиненіе*, всѣ признаютъ, что оно ничего не стоитъ, или не обратятъ на него ни малѣйшаго вниманія. Оно погибнетъ въ рѣкѣ забвенія, какъ погибли несравненно болѣе даровитыя окончанія Шиллеровскаго «Самозванца», написанныя иногда истинными поэтами и по широкой программѣ, оставленной великимъ нѣмецкимъ поэтомъ.

А не выдать ли свое сочиненіе за Пушкинское? Это возбудитъ интересъ, станутъ спорить, доказывать и, кто знаетъ, можетъ и удастся провести кого-нибудь. Онъ колеблется, разсчитываетъ шансы за и противъ, но думаетъ: а что̀ если отыщется Пушкинское «окончаніе»? Послѣ появленія сочиненій Пушкина подъ редакціей г. Морозова и описи его рукописей, сдѣланной г. Якушкинымъ, т.-е. въ то время, когда въ бумагахъ Пушкина не было найдено окончанія «Русалки», г. Зуевъ подалъ о себѣ слухъ, и въ литературныхъ кружкахъ Петер-

бурга заговорили о Зуевской «записи», но въ обстановкѣ иной, чѣмъ теперь. Состоялось чтеніе у г. Зуева. Одинъ изъ присутствующихъ, человѣкъ несомнѣннаго таланта и вкуса, на вопросъ: Пушкинъ ли это?—отвѣчалъ:

— Да, Пушкинъ, но маргариновый.

Прошли еще годы, прежде чѣмъ г. Зуевъ рѣшился выпустить свою поддѣлку, но обставилъ ее своими 14-ю лѣтами и своей феноменальной памятью, существованія которой у него однако еще никто и ничѣмъ не доказалъ. Но и 14 лѣтъ, и феноменальная память — хорошая выдумка, ибо у всякой памяти могутъ быть недочеты, а потому недостатки этой «записи» легко приписать именно недочетамъ памяти и ошибкамъ «отрока». Г. Коршъ и повисъ на этомъ...

«Запись» была пущена въ печать какъ разъ съ того мѣста, гдѣ остановился Пушкинъ. Критика прежде всего обратила на это свое вниманіе. Г. Коршъ поѣхалъ къ г. Зуеву и объяснилъ ему, что критика права. Г. Зуевъ сначала притворился непонимающимъ, потомъ побѣдоносно заявилъ, что онъ записалъ и предыдущіе 8 стиховъ, но не напечаталъ ихъ потому, что это было безполезно, и потому, что и изъ этихъ восьми 4 заключаютъ незначительныя отличія отъ Пушкинскаго оригинала и отличія эти—въ 4 словахъ, по одному въ каждомъ стихѣ. Очевидно, г. Зуевъ эти 8 стиховъ приписалъ къ своей «записи» уже послѣ появленія ея въ печати и сдѣлалъ въ 4 стихахъ четыре поправки.

Кромѣ того, г. Зуевъ, какъ настоящій фальсификаторъ, идущій на проломъ, возмущался недовѣріемъ къ нему критики, упреками ея за грубость нѣкоторыхъ выраженій въ «записи». И вотъ онъ сознается, что, напротивъ, преслѣдуя приличія, онъ поддѣлалъ въ «записи» нѣсколько стиховъ, или, какъ выражается г. Коршъ, прибѣгъ къ «самовольной перемѣнѣ». *Любимецъ Князя* разсказываетъ охотникамъ — хотя они и безъ него не могли этого не знать,—что мельничиха сама навязалась Князю («подговорилась» у г. Зуева):

охотою слюбилась,
Не силой взялъ. Самъ знаешь поговорку
О псицѣ. Аль забылъ? Ну, и молчи.

Г. Зуеву показались эти яко бы Пушкинскіе стихи неприличными и онъ исправилъ ихъ, какъ въ печатной «записи» въ «Рус. Арх.», такъ:

охотой отдалася,
Не силой взялъ. Самъ знаешь поговорку:
«Насильно милъ не будешь». И молчи,
И не болтай пустого, ты не баба.

Оба варіанта плохи и первый, яко бы Пушкинскій, еще хуже второго, въ сочиненіи котораго г. Зуевъ сознался. Хуже потому, что не въ обычаѣ у Пушкина писать намеками, да и не въ обычаѣ у охотниковъ не договаривать своей мысли. Между ними не было дамъ. Поговорку о псицѣ я не знаю, какъ не знаютъ ее вѣроятно многіе. Но г. Зуевъ, очевидно, зналъ ее, если за-

мѣнилъ другою, вѣроятно однородною. Пушкинъ несомнѣнно или обошелъ бы эту поговорку совсѣмъ, или всю ее написалъ бы, въ особенности въ рукописи первоначальной [1]).

Если г. Зуевъ поддѣлалъ нѣсколько стиховъ и сказалъ объ этомъ поздно, то почему же онъ не могъ поддѣлать и всего? Онъ, какъ говорится, открылъ «слѣды своего преступленія», хотя и съ тѣмъ расчетомъ, что такая искренность говоритъ за него. Но при всѣхъ другихъ доказательствахъ поддѣлки, эта искренность тоже поддѣльная.

Преступленія доказываются слѣдствіемъ, допросомъ очевидцевъ, біографіей преступника; поддѣлка требуетъ такихъ же пріемовъ. Отъ такого слѣдствія г. Коршъ отказался. Какія особенности характера г. Зуева, съ кѣмъ онъ былъ знакомъ, нѣтъ ли въ его бумагахъ слѣдовъ поддѣлки, сдѣлали ли у него обыскъ? Конечно, отвѣты на эти вопросы могутъ быть только отрицательные, потому что такое слѣдствіе немыслимо. Но вотъ что возможно было опредѣлить: какимъ почеркомъ написана «запись» и на какой бумагѣ? Г. Коршъ говоритъ, что онъ видѣлъ *подлинную запись*. Чѣмъ эта подлинность доказывается? Признаками ли бумаги 1836 г.,

[1]) Эту поговорку я потомъ узналъ. Она вѣроятно соотвѣтствуетъ поэтическимъ воззрѣніямъ «маститаго старца» на приличія въ художественномъ произведеніи, но отстаивать, что Пушкинъ могъ ее употребить въ своей драмѣ, назначенной для широкой публики—значитъ просто зубы чесать, а не писать серьезное «изслѣдованіе».

когда запись была написана, знакомствомъ ли г. Корша съ почеркомъ г. Зуева, когда ему было 14 лѣтъ, или чѣмъ-нибудь другимъ? Къ рукописямъ относятся критически и, прежде чѣмъ признать ихъ подлинность, необходимо подвергать ихъ внимательному разсмотрѣнію экспертовъ. Произведено ли подобное слѣдствіе? Г. Коршъ ничего объ этомъ не говоритъ. Г. Бартеневъ тоже ничего объ этомъ не сказалъ. Конечно, внѣшнія стороны поддѣлки—дѣло не важное. Поддѣлываютъ и брилліанты, и кредитные билеты, а не то что рукописи. Но все же для полной картинности и характеристики поддѣлки адвокатамъ предстоитъ доказать, что бумага, на которой «запись» написана, дѣйствительно 1836 или близкаго къ нему года и почеркъ рукописи дѣйствительно почеркъ 14-лѣтняго г. Зуева...

Желаю имъ въ этомъ успѣха. Самъ я останусь съ убѣжденіемъ, что г. Зуевъ есть г. Зуевъ, г. Коршъ есть г. Коршъ и Пушкинъ есть Пушкинъ, до котораго не только всѣмъ намъ, какъ до звѣзды небесной, далеко, но далеко до него и всякой Академіи. Онъ академикъ у самого Господа Бога, который одарилъ его высочайшимъ даромъ поэзіи.

CCCLXX.

V.

(«Новое Время», 22-го января 1900 г., № 8586).

Читатели найдутъ въ сегодняшнемъ нумерѣ письмо г. А. К. (имя автора намъ извѣстно), очень любопытное въ томъ отношеніи, что оно, по моему мнѣнію, окончательно разрѣшаетъ вопросъ о поддѣлкѣ Пушкинской «Русалки» г. Зуевымъ, если еще могло быть въ томъ сомнѣніе. Г. Коршъ можетъ получить поздравленія отъ Академіи, которой остается только «посмѣяться горькимъ смѣхомъ», вторя всему русскому обществу, которое посмѣется искреннимъ смѣхомъ надъ усиліями ординарнаго академика поддѣлать г. Зуева подъ Пушкина. Оказывается, что г. Зуевъ, при всѣхъ своихъ хорошихъ качествахъ, былъ человѣкомъ съ «ненасытнымъ тщеславіемъ» и «ограниченнымъ умственнымъ кругозоромъ». Эта ограниченность какъ нельзя яснѣе выступаетъ въ поддѣлкѣ, гдѣ нѣтъ ни одной «мысли», но за то много безсмыслія. Кромѣ того, онъ страдалъ тяжкою болѣзнью, именно—стихоманіей. Онъ постоянно писалъ стихи, «поправлялъ» Пушкина, Лермонтова и Некрасова, подражалъ имъ и упражнялся въ поддѣлкахъ. Послѣ разбора г. Буренина «записи» г. Зуева, когда она явилась въ «Рус. Архивѣ» 1897 г.,—

разбора, который «почти убилъ» г. Зуева, по выраженію автора письма, г. Зуевъ написалъ «чрезмѣрно слабый» отвѣтъ, который былъ напечатанъ, но гдѣ, я не знаю. Мотивы поддѣлки г. А. К. объясняетъ почти такъ же, какъ и я, но болѣе доказательно, ибо онъ былъ хорошо знакомъ съ стихоманомъ и писалъ по личнымъ воспоминаніямъ. Очень вѣроятна догадка г. А. К., что г. Зуевъ объявилъ бы самъ, что онъ выдумалъ свиданіе Пушкина съ Губеромъ, гдѣ яко бы происходило чтеніе «Русалки», и написалъ самъ окончаніе. Онъ сознался бы въ поддѣлкѣ, если бы дождался дня, когда г. Коршъ объявилъ «поддѣлку» Пушкинскимъ произведеніемъ. Онъ мечталъ о славѣ—быть равнымъ Пушкину, и какъ было не мечтать ему объ этомъ, когда онъ поправлялъ Пушкина и привѣтствовалъ стихами блюда, подаваемыя за обѣдомъ.

На своемъ вѣку я знаю три поддѣлки: полковника г. Ястржембскаго, написавшаго «варіанты» къ «Мертвымъ душамъ» Гоголя, поддѣлку неизвѣстнаго къ «Демону» Лермонтова, представленную г. Висковатовымъ, и поддѣлку г. Зуева. Г. Ястржембскій поддѣлалъ Гоголя, но напечаталъ поддѣлку не онъ, а его пріятель въ «Русск. Старинѣ» (1872 г., т. V, стр. 87—117), вопреки его желанію. Поддѣлка явилась съ пышной рекомендаціей редакціи, которая, печатая отрывки изъ «Мертвыхъ душъ», сочиненные г. Ястржембскимъ, говорила: «въ нихъ искрится неподражаемый, умершій съ Гоголемъ юморъ, поразительная мѣткость выра-

женія и художественное воспроизведеніе лицъ, мѣстностей, всего, до чего только касалась кисть геніальнаго мастера». Не одна редакція «Рус. Старины» попалась на удочку. И въ другихъ изданіяхъ явились дифирамбы Гоголю за то, что написалъ не онъ. Объясненіе г. Ястржембскаго явилось какъ снѣгъ на голову и «Русская Старина» не совсѣмъ даже ему повѣрила. Подробности объ этомъ напечатаны въ «Русск. Стар.» 1873 г., т. VIII, стр. 244—249. «Я не ищу литературной извѣстности,—говорилъ г. Ястржембскій,—не придаю никакого значенія написаннымъ мною варіантамъ; удивляюсь, что въ нихъ не узнана сразу неловкая поддѣлка Гоголя». Увы! что остается сказать о г. Коршѣ, который не только сразу не узналъ поддѣлки подъ Пушкина и притомъ грубой поддѣлки, но и самъ продолжалъ поддѣлку прозой и стихами, а Академія напечатала его изслѣдованіе, не моргнувъ глазомъ...

Помѣщаю это письмо въ редакцію, вмѣстѣ съ другимъ, полученнымъ позднѣе, но съ нимъ однороднымъ, напечатаннымъ въ № 8593 «Новаго Времени», отъ 29-го января 1900 г.

А. Суворинъ.

Письма въ редакцію „Новаго Времени“.

I.

«Мнѣ въ высшей степени не хочется печатно говорить по поводу «дополнительныхъ» стиховъ «Русалки» и потому именно не хочется, что я съ покойнымъ Дмитріемъ Павловичемъ Зуевымъ

былъ въ тѣсныхъ «стихотворныхъ» отношеніяхъ и что Зуевъ былъ въ высшей степени добрый человѣкъ, любящій, наивный, всепрощающій, незлобивый, отзывчивый, симпатичный. То, что я теперь скажу, я обязанъ былъ сказать ранѣе, именно въ ту пору, когда покойный прислалъ мнѣ свое печатное возраженіе г. Буренину; но я не имѣлъ гражданскаго мужества настолько, чтобы говорить не только то, что скажу теперь, но даже и написать Зуеву какъ мое мнѣніе о записанныхъ имъ «дополнительныхъ» стихахъ «Русалки», такъ и о чрезмѣрной слабости его замѣтки на Буренинскую критику. Мнѣ простотаки было больно доколачивать почти убитаго Буренинымъ Зуева. Но теперь, когда, на мой взглядъ, неправда, облекшись въ тогу истины, влѣзла въ Академію Наукъ и нашла тамъ себѣ защитниковъ,—никакія личныя чувства, какой бы высокой пробы они ни были, не должны скрывать всего того, что можетъ послужить хотя отчасти рѣшенію вопроса, а главное—характеристикѣ виновника появленія дополнительныхъ стиховъ.

«Я познакомился съ Зуевымъ здѣсь, въ Петербургѣ, въ концѣ 80-хъ годовъ и съ первыхъ же часовъ бесѣды съ нимъ узналъ, что онъ былъ одержимъ тяжкимъ недугомъ, который называется «стихоманіей». Чтобы сдѣлать ему пріятное, я написалъ шутливое, но лестное для него посланіе подъ названіемъ: «Уродъ современнаго человѣчества», начинающееся такою строфою:

Завидую тебѣ, о юноша мой пылкій,
Ребенокъ въ шестьдесятъ пять лѣтъ:
Не жаждой почестей, не дѣвой, не бутылкой,—
Ты даромъ творческимъ согрѣтъ.

«На другой день я получилъ отъ Дмитрія Павловича такое же посланіе, къ сожалѣнію, оставленное мною на мѣстѣ постояннаго моего жительства,—посланіе такого же слабенькаго, какъ и мое къ нему, содержанія, но безупречнаго стиха и размѣра и безукоризненной риѳмы. Всѣ его довольно многочисленныя и продолжительныя бесѣды со мною и начинались, и оканчивались чтеніемъ его стиховъ, разборомъ стихотвореній русскихъ поэтовъ, нѣкоторыми стихотворными цитатами, сравненіями, замѣчаніями, что вотъ такое-то мѣсто у Пушкина, Лермонтова или Некрасова можно бы съ большимъ успѣхомъ для дѣла замѣнить такимъ-то стихомъ и проч. Помню одинъ день, когда мы съ нимъ въ одномъ знакомомъ семействѣ провели въ такой бесѣдѣ все время между завтракомъ и обѣдомъ и, «распугавъ» и молодыхъ, и старыхъ хозяевъ, остались въ столовой вдвоемъ. За послѣдовавшимъ черезъ нѣсколько часовъ обѣдомъ, дотолковавшись до стихотворнаго «одурѣнія», мы начали говорить стихами о блюдахъ, подаваемыхъ на столъ. Зуевъ по нѣскольку разъ читалъ мнѣ сборникъ своихъ стихотвореній (толстая рукописная тетрадь, которая теперь хранится у одного общаго знакомаго), пересказывалъ воспоминанія свои о знакомствѣ со многими поэтами и нѣко-

торые мелкіе случаи изъ ихъ жизни, о достоинствахъ и недостаткахъ ихъ сочиненій, но никогда ни единымъ словомъ не заикнулся о чтеніи «Русалки» въ его, Зуева, присутствіи. Ни въ этотъ годъ знакомства, когда мы видѣлись очень часто, ни во второй мой пріѣздъ въ Петербургъ въ 1891 или 1892 годахъ, ни наконецъ въ третій, имѣвшій мѣсто въ 1895 или 1896 годахъ, когда покойникъ лежалъ уже въ постели, не слышалъ я отъ него ни одного звука о Пушкинской «Русалкѣ». А казалось бы, это — такой матеріалъ для бесѣды, лучше котораго трудно найти, и что интересъ такого разговора настолько великъ, что все мною слышанное не могло изгладиться изъ моей памяти. Далѣе. Не помню, въ какой именно мой пріѣздъ въ Петербургъ, Зуевъ подарилъ мнѣ написанную его рукою пѣсню не пѣсню, сказаніе не сказаніе, озаглавленное приблизительно такъ: «Повѣствованіе о томъ, какъ Русскій Царь удивилъ царя нѣмецкаго», сочиненное, по словамъ Зуева, донскимъ казакомъ (рядовымъ), служившимъ въ донскихъ гвардейскихъ полкахъ въ Петербургѣ. Я не буду пересказывать содержанія этой хвастливой пѣсни, занявшей собою 5—6 печатныхъ листовъ писчей бумаги довольно убористаго почерка, а замѣчу только, что когда я, въ присутствіи Зуева, окончилъ чтеніе пѣсни, написанной правильнымъ, выдержаннымъ стихомъ, недоступнымъ даже и для хорошо грамотнаго нижняго чина, то высказалъ въ этомъ смыслѣ свое сомнѣніе Дми-

трію Павловичу, который, нѣсколько сконфузившись, отвѣтилъ, что онъ здѣсь «немножко погулялъ» своимъ перомъ. Цѣль такого подарка— видимое желаніе Зуева напечатать эту вещь въ мѣстныхъ донскихъ газетахъ, какъ произведеніе донского казака. Я было началъ это дѣло, но боязнь попасть впросакъ остановила меня на полпути. Тетрадь эта хранится у меня, но, къ сожалѣнію, я не взялъ ее съ собою въ теперешній пріѣздъ мой въ Петербургъ.

«Все сказанное мною здѣсь «естественно» не рѣшаетъ вопроса о томъ—подлогъ ли Зуевская «Русалка» или дѣйствительность, но это сказанное мною значительно характеризуетъ стихомана, не умѣвшаго болѣе искусно придумать причины своего молчанія въ продолженіе 60-ти лѣтъ. Вѣдь могло быть, что Пушкинъ, прочитавъ во второй разъ свою «Русалку», положилъ рукопись на столъ и заговорился съ Губеромъ о разныхъ предметахъ, а мальчикъ Зуевъ, доставъ карандашъ и бумагу, засѣлъ и переписалъ это произведеніе. Явившись домой, онъ положилъ куда-то эту бумагу, забылъ о ея существованіи и на старости лѣтъ, перерывая хламъ, нашелъ ее подъ пылью десятилѣтій и повѣдалъ міру. Такое сказаніе могло бы имѣть хотя видъ правды. Но записать на память 228 стиховъ и, при феноменальности этой памяти, забыть о существованіи такой драгоцѣнности до глубокой старости—это ужъ истая нелѣпость. На основаніи всего сказаннаго полагаю, что и безъ сравненія

содержанія и наружнаго вида стиховъ Пушкина и Зуева-Пушкина можно съ большою увѣренностью сказать, что и въ окончаніи «Русалки» покойный Зуевъ, пропитанный ядомъ стихоманіи, «погулялъ перомъ» можетъ-быть нѣсколько болѣе, чѣмъ въ той пѣснѣ казака-Гаврилыча, о которой я говорилъ выше и которую могу представить подлинникомъ, если она кѣмъ-либо потребуется для изслѣдованія. Но какая цѣль, спроситъ читатель, выдавать свое за Пушкинское? Пушкинское выдать за свое—было бы понятно. А вотъ какая цѣль, надо думать, была у покойнаго стихотворца Зуева: «такъ какъ стихъ мой,—полагалъ онъ,—безупреченъ во всѣхъ размѣрахъ и нисколько не уступаетъ стиху Пушкина по наружному виду, то, не отступая отъ смысла неоконченной поэтомъ «Русалки», я докончу ее собственнымъ изложеніемъ и, разсказавъ исторію, будто бы происшедшую въ кабинетѣ Губера, отдамъ это окончаніе поэмы на разсмотрѣніе читателей, которые навѣрное не замѣтятъ разницы между моими и Пушкинскими стихами и примутъ окончаніе «Русалки» за наличную монету. Когда же такое признаніе состоится и дѣло о дополненіи «Русалки» будетъ сложено въ архивъ, тогда я спустя нѣкоторое время объявлю, что это дополненіе—мое, а не Пушкина, что разсказанная мною исторія записи съ «памяти»—вымыселъ, и публика ахнетъ отъ удивленія, невольно признавъ во мнѣ талантъ, Пушкину не уступающій». Наивность, чтобы не сказать—

дѣтскость Зуева, ограниченность его умственнаго кругозора, ненасытное тщеславіе во всемъ, что относилось къ его стихотвореніямъ,—все это заставило меня сдѣлать такое предположеніе.

«Больно мнѣ говорить такъ о добромъ и симпатичномъ покойникѣ, очень меня любившемъ, но... amicus Plato...

А. К.»

II.

«М. г. Въ № 8581-мъ вашей газеты въ отдѣлѣ подъ рубрикой: «Маленькія Письма» опять поднятъ вопросъ, кѣмъ написанъ конецъ «Русалки»?

Помимо всякихъ научныхъ способовъ доказательствъ, что конецъ написанъ Д. П. Зуевымъ, а не записанъ имъ со словъ Пушкина, я вижу еще одинъ и, по-моему, самый простой и вѣрный: спросить объ этомъ родственниковъ покойнаго Зуева.

«Возможно, что, щадя память родственника, они не будутъ въ должной мѣрѣ откровенны, а потому, да простятъ они мнѣ, я беру на себя смѣлость во имя истины и на пользу родной литературы заявить слѣдующее:

«Четверть вѣка тому назадъ я еще мальчикомъ 15—16 лѣтъ слышалъ въ родственной мнѣ семьѣ Зуевыхъ, что Дмитрій Павловичъ пишетъ стихи вообще и работаетъ надъ продолженіемъ «Русалки». Нѣкоторыя выдержки изъ этого продолженія намъ были извѣстны, но что намъ не

было извѣстно, такъ это то, что продолженіе не сочиняется Д. П. Зуевымъ, а записывается по памяти со словъ А. С. Пушкина. Для меня было большою неожиданностью, когда я увидѣлъ изданную въ 1897 году книжку, на обложкѣ которой впервые прочелъ, что конецъ «Русалки» обязанъ своимъ выходомъ въ свѣтъ поразительной памяти Д. П. Зуева. Буду кратокъ и скажу категорично: продолженіе «Русалки» написано Д. П. Зуевымъ и ничего общаго съ перомъ А. С. Пушкина не имѣетъ. Подъ этими словами должны бы были подписаться всѣ многочисленные родственники покойнаго Зуева и если они этого не сдѣлаютъ, то только, повторяю, щадя память его. Какъ хотите, а тяжело уличить во лжи покойника, да еще такого, котораго привыкли съ дѣтства любить и уважать.

«Мнѣ это легче сдѣлать, во-первыхъ, потому, что я очень дальній по свойству даже, а не по родству, а во-вторыхъ потому, что убѣжденъ, что прямое заявленіе мое послужитъ на пользу памяти покойнаго, такъ какъ поможетъ скорѣе сдать все дѣло въ архивъ, иначе споры могутъ затянуться на многіе годы, въ концѣ же концовъ все же не можетъ не быть доказаннымъ, что Зуевъ выдалъ свое за чужое. Чѣмъ можно объяснить поступокъ Зуева, вопросъ темный, но нельзя ли найти отвѣтъ на него въ слѣдующемъ.

«Выйдя въ отставку и не имѣя рѣшительно никакого дѣла, Д. П. послѣдніе годы своей жизни проводилъ въ одиночествѣ. Въ августѣ

онъ входилъ въ свою зимнюю квартиру и не выходилъ изъ нея до конца мая. Девять мѣсяцевъ онъ проводилъ въ добровольномъ заключенiи. Нормально ли это? Если не нормально, то нельзя ли интересующiй насъ вопросъ объяснить ненормальностью. Мнѣ кажется, что онъ додумался, что онъ пишетъ «Русалку» со словъ А. С. Пушкина, потомъ самъ вѣрилъ въ это.

«Удивительнаго въ такомъ предположенiи ничего нѣтъ. Утверждать боюсь, но, если не ошибаюсь, онъ никогда не видалъ Пушкина, его же старшiй братъ, тоже нынѣ покойный, Петръ Павловичъ, дѣйствительно встрѣчалъ во дни своей юности великаго поэта у Губера. Повторяю, что за точность послѣдней справки не ручаюсь, потому что слышалъ ее не отъ самого Петра Павловича, а отъ одной изъ родственницъ послѣдняго.

«Десятки лѣтъ Д. П. Зуевъ молчалъ, скрывая отъ свѣта, что записалъ со словъ самого Пушкина конецъ «Русалки». Критика обратила на это обстоятельство вниманiе, но не умѣла объяснить себѣ, чѣмъ это молчанiе вызвано. Отвѣтъ напрашивается самъ собой: «былъ живъ Петръ Павловичъ».

«Петръ Павловичъ умеръ въ 1895 году. Конецъ «Русалки» изданъ въ 1897 году. Дмитрiй Павловичъ умеръ въ 1898 году.

«Будемъ надѣяться, что незаконнорожденное дѣтище Дмитрiя Павловича умретъ въ 1900 году.

Харьковъ. Н. У».

XXI.

Г. Суворинъ въ качествѣ научно-эстетическаго критика.

(«С.-Петербургскія Вѣдомости», 3-го февраля 1900 г., № 33).

Г. Суворинъ почтилъ мое изслѣдованіе «Разборъ вопроса о подлинности окончанія Русалки А. С. Пушкина по записи Д. П. Зуева» особеннымъ вниманіемъ, посвятивъ этому научно-литературному труду цѣлыхъ пять «Маленькихъ Писемъ» («Новое Время» №№ 8580, 8581, 8582, 8584 и 8586). Подобающую за такое отличіе благодарность я сохранилъ бы, конечно, въ глубинѣ души, не выражая ея словесно, особенно въ печати, если бы оказанная мнѣ честь не распространялась косвенно и на то учрежденіе, которое помѣстило мой трудъ въ своемъ изданіи (въ «Извѣстіяхъ Отдѣленія Русскаго Языка и Словесности» за 1898 и 1899 г.) и, по частнымъ свѣдѣніямъ г. Суворина, недавно удостоило меня избранія въ свои члены. Содержаніе критическаго ушата г. Суворина вылито на меня съ тѣмъ расчетомъ, чтобы брызги задѣли Академію, такъ какъ выводъ изъ его разбора, предоставленный, впрочемъ, догадливости читателя, можетъ быть лишь таковъ, что я попалъ въ «Пушкинскіе» академики за оклеветаніе Пушкина. Не намѣреваясь входить въ газетную полемику, въ которой у меня къ тому же нѣтъ надлежа-

щей опытности, я постараюсь ограничиться простымъ разъясненіемъ истины, по возможности краткимъ. Къ такому шагу я считалъ себя тѣмъ болѣе обязаннымъ, что «нашъ маститый критикъ» открылъ цѣлый походъ противъ Академіи за выборы почетныхъ (литературныхъ) академиковъ.

Какъ извѣстно читателямъ «Новаго Времени», запись покойнаго Д. П. Зуева подвергалась жестокому осмѣянію на страницахъ этого журнала почти вслѣдъ за своимъ появленіемъ въ «Русскомъ Архивѣ». Само собою разумѣется, что всякій защитникъ ея долженъ былъ готовиться къ претерпѣнію той же участи, — въ особенности если онъ позволилъ себѣ возраженія противъ этой рецензіи. И такъ, на маленькія непріятности со стороны газеты г. Суворина, каковы напр. «Маленькія Письма» самого редактора, я шелъ съ должною покорностью судьбѣ, а будучи нѣсколько знакомъ съ полемическими пріемами этого почтеннаго журнала, шелъ и на то, что эти маленькія непріятности будутъ основаны на большомъ искаженіи моихъ мыслей. Мои ожиданія сбылись вполнѣ. Въ одномъ только я, можетъ быть, ошибся: судя по наивности нѣкоторыхъ аргументовъ и требованій г. Суворина, онъ представилъ мое произведеніе въ превратномъ видѣ не столько умышленно, сколько по недоразумѣнію, совершенно понятному въ человѣкѣ, такъ далеко стоящемъ отъ дѣла, по которому «честь» газеты принудила его высказаться. Вся-

кій, кто читалъ мое изслѣдованіе безпристрастно и съ пониманіемъ пріемовъ научно-литературной критики, легко повѣрить искренности г. Суворина, когда онъ выражаетъ подозрѣніе, что я защищаю запись Д. П. Зуева только шутки ради, и объясняетъ это себѣ тѣмъ, что я — «сынъ Евг. Ѳед. Корша, человѣка очень остроумнаго, любителя парадоксовъ»: это подозрѣніе обезоруживаетъ противника своей добродушной наивностью. Впрочемъ, пусть судятъ читатели.

Прежде всего г. Суворинъ ставитъ мнѣ въ упрекъ то, что я отказался отъ слѣдствія по дѣлу объ обстоятельствахъ, доставившихъ Д. П. Зуеву обнародованное имъ окончаніе «Русалки», и о причинахъ, по которымъ оно стало извѣстно только ему, — тогда 14-лѣтнему мальчику, а не друзьямъ Пушкина и не редакторамъ перваго посмертнаго изданія. А какже я или кто другой могъ бы произвести такое слѣдствіе? Д. П. Зуевъ утверждалъ, что слышалъ эту часть «Русалки» изъ устъ самого Пушкина и записалъ ее по памяти; этому всякій можетъ вѣрить или не вѣрить, но изъ своего недовѣрія къ обстоятельствамъ сохраненія какого-либо памятника выводить непремѣнно его подложность есть крупная наивность. Въ самомъ дѣлѣ, если ужъ не вѣрить показанію Д. П. Зуева, отчего не предположить, что въ его руки попалъ подлинникъ, — можетъ быть, тотъ самый, который, по свидѣтельству А. О. Смирновой, былъ переданъ Пушкинымъ

друзьямъ не за долго до поединка? [1]). Въ такомъ случаѣ было бы понятно и молчаніе объ этомъ произведеніи Пушкина въ теченіе 40 слишкомъ лѣтъ (а не больше, такъ какъ г. Зуевъ читалъ его 30-го ноября 1887 года кружку литераторовъ). На эту возможность указано въ моемъ изслѣдованіи съ такою ясностью, какая была позволительна при жизни обнародовавшаго запись. Какъ бы то ни было, эта сторона дѣла допускаетъ однѣ догадки, а для рѣшенія вопроса о подлинности остается только путь филологической и литературной критики, по которому я и пошелъ [2]).

Другое обвиненіе состоитъ въ томъ, что я подобралъ примѣры техническихъ погрѣшностей у Пушкина, не заботясь о вкусѣ, хотя имѣлъ дѣло съ поэтическими произведеніями. Это также очень наивно: точно форма и содержаніе—одно и то же! Есть, правда, критики, которые все валятъ въ одну кучу, и въ замѣчаніи самого г. Суворина, что «г. Коршъ, какъ статистикъ, беретъ примѣры, раскладываетъ ихъ по рубрикамъ и подводитъ итоги», звучитъ глубокое презрѣніе къ порядку и опредѣленности; но противъ такихъ-то критиковъ, у которыхъ дѣло не йдетъ дальше смутныхъ и бездоказательныхъ выраженій поддѣльнаго восторга или тенденціознаго порицанія, и направлена эта часть моего изслѣдо-

[1]) Ничего подобнаго А. О. Смирнова не говоритъ и г. Коршъ просто фантазируетъ, выражаясь деликатно. Объ этомъ я говорю въ первой главѣ этой книжки подробно. *А. С—нъ.*

[2]) См. въ этой книжкѣ статью г. Южакова, стр. 122—124. *А. С—нъ.*

ванія. Разсмотрѣніе поэзіи Пушкина со стороны недостатковъ — задача отнюдь неусладительная; но взяться за нее меня принудили критики указаннаго пошиба, которые при повѣркѣ подлинности стиховъ, приписываемыхъ Пушкину, не знаютъ иного способа, кромѣ примѣненія мѣрила совершенства, опредѣляемаго къ тому же ихъ собственнымъ вкусомъ, т. е. такой-то стихъ не принадлежитъ Пушкину, потому что онъ несовершененъ (читай: мнѣ, критику, не нравится). На такомъ конѣ далеко не уѣдешь! Что касается подбора примѣровъ, то я дѣйствовалъ осмотрительнѣе г. Суворина, такъ какъ вездѣ, гдѣ слѣдуетъ, принималъ въ расчетъ связь даннаго мѣста съ предыдущими и съ послѣдующими стихами произведенія, изъ котораго оно приводится, и онъ выписалъ свой единственный образчикъ моей придирчивости (мѣсто изъ «Полтавы» о бендерскихъ мельницахъ), оставивъ безо всякаго вниманія мое указаніе на то, что̀ у Пушкина впереди. Куріозно и его замѣчаніе къ этой цитатѣ: «Правда, «раскатъ»—фортификаціонное выраженіе, но всѣмъ извѣстное, кто учился русской исторіи». Ужъ лучше бы онъ сказалъ, какъ Иванъ Ивановичъ Перерепенко: «даже не учившимся въ семинаріи!» Какъ это, въ самомъ дѣлѣ, можетъ придти въ голову человѣку, что «раскатъ» есть необходимая принадлежность всякаго учебника русской исторіи?

Не согласенъ г. Суворинъ и съ моей характеристикой работы Пушкина надъ своими произ-

веденіями, но это несогласіе ничѣмъ не подкрѣпляетъ, кромѣ своего авторитета. Правда, онъ самъ издавалъ Пушкина, но, какъ извѣстно всѣмъ, «кто учился русской исторіи» по тѣмъ всеобъемлющимъ учебникамъ, по которымъ проходилъ ее г. Суворинъ, онъ издавалъ его на основаніи не рукописей,—по крайней мѣрѣ не рукописей Пушкина, какъ можно судить по редакціи стиха въ посланіи «Къ вельможѣ» (т. IV, стр. 64, изд. Сув., 1887 г.): что *благоденствуешь* ты Музамъ въ тишинѣ, вмѣсто *благосклонствуешь,* находящагося во всѣхъ изданіяхъ, кромѣ изданія Литературнаго фонда; однако, и это еще не дѣлаетъ его авторитета безапелляціоннымъ.

Г. Суворинъ очень неблагосклонно взглянулъ на мой списокъ самоповтореній у Пушкина—за что? за то, что онъ не полонъ (что было бы справедливо)? нѣтъ, за то, что онъ недоказателенъ. Опять онъ не понялъ, въ чемъ суть, что̀, впрочемъ, говорю ему не въ упрекъ: чтобы понять книгу, надобно прочесть ее внимательно и, кромѣ того, имѣть достаточныя свѣдѣнія по предмету, о которомъ она написана. Ни тому, ни другому условію г. Суворинъ не удовлетворяетъ, такъ какъ мое изслѣдованіе онъ читалъ, судя по результатамъ, чрезъ два въ третье, а по части изученія писателей со стороны техники онъ такъ невиненъ, что смѣшиваетъ фразелогическія параллели съ глоссаріемъ. Цѣль этихъ параллелей у меня—возраженіе тѣмъ критикамъ, которые подложность окончанія «Русалки» выводили,

между прочимъ, изъ повторенія въ немъ нѣкоторыхъ оборотовъ, встрѣчаемыхъ въ первой, несомнѣнно подлинной части; потому у меня выдѣлены въ особую группу самоповторенія въ одномъ и томъ же произведеніи, напр. въ «Русланѣ и Людмилѣ». Какое же мнѣ дѣло до того, что «слово love (любовь и любить) употреблено Шекспиромъ больше чѣмъ въ 1,900 стихахъ, слово God (Богъ) въ 1,000 стихахъ» и т. д.? Такъ же не кстати мнѣ и поученіе относительно числа риѳмованныхъ стиховъ у Шекспира: что они сосчитаны, извѣстно всякому («кто учился русской исторіи»?), но я предпочиталъ пріискать самъ нѣсколько образчиковъ, завѣдомо для меня годныхъ, чѣмъ пользоваться слѣпо чужой статистикой, въ которой при провѣркѣ могло бы оказаться и кое-что не идущее къ моей цѣли. За дешевыми лаврами учености, взятой на прокатъ, я не гонялся, да не гонялся и за полнотой: я писалъ не о Шекспирѣ, а въ вопросѣ, извѣстномъ всякому, кто и т. д., два-три примѣра—sapienti sat! Вывода, который мнѣ навязываетъ г. Суворинъ, будто изъ повтореній въ окончаніи «Русалки» слѣдуетъ его подлинность, у меня, разумѣется, нѣтъ. Онъ и того не понялъ, что цѣль всей первой части моего изслѣдованія состоитъ въ устраненіи общихъ, отчасти принципіальныхъ, возраженій противъ подлинности записи Д. П. Зуева, и что выводъ изъ этой части только таковъ: окончаніе «Русалки», имъ обнародованное, *можетъ* быть подлинное.

Въ отзывѣ о второй части моего труда г. Суворинъ кое о чемъ умолчалъ — не въ видахъ краткости и на сей разъ не по наивности, а кое-что подчеркнулъ не кстати, не сообразивъ, «что къ чему». «Сотни страницъ», наполненныя сравненіями выраженій изъ записи Д. П. Зуева съ Пушкинскими, вызваны не только интересами изученія языка, слога и стихосложенія Пушкина (на что г. Суворинъ въ этой связи не обращаетъ вниманія), но и возраженіями критиковъ въ родѣ категорическаго заявленія, что такое-то выраженіе пошло, нелѣпо, немыслимо у Пушкина, тогда какъ оно встрѣчается у Пушкина неоднократно. Но во многочисленности моихъ цитатъ изъ Пушкина г. Суворинъ видитъ хитрый пріемъ, чуть не подвохъ, заключаюйщійся «въ томъ, чтобы потопить г. Зуева и въ Пушкинѣ... Двѣ строчки изъ г. Зуева и 200 строкъ изъ Пушкина, три строчки изъ г. Зуева и 300 строчекъ изъ Пушкина». Само собою разумѣется, что, если бы я вздумалъ доказывать принадлежность первой части «Русалки» г. Зуеву, пропорція вышла бы обратная; но ужели г. Суворинъ забылъ въ этомъ мѣстѣ своей критики, что я доказываю приблизительно противоположное? Мои указанія на погрѣшности противъ языка, стиха и смысла въ записи Д. П. Зуева, отмѣченныя и г. Суворинымъ, никакъ не согласуются съ приписанной мнѣ имъ уловкой, а что я позволяю себѣ догадки, — ни для кого, конечно, не обязательныя, относительно исправленія этихъ недостатковъ, —

то на это я имѣлъ полное право въ силу своего взгляда на эту запись, какъ на черновой набросокъ, отличающійся тою неразборчивостью и кое гдѣ недодѣланностью, вслѣдствіе которыхъ и въ первой части «Русалки» чтеніе стиховъ «Змѣй, змѣею онъ меня» и «Прошло ужъ восемь долгихъ, долгихъ лѣтъ» не установлено, да и не можетъ быть установлено.

Напрасно г. Суворинъ видитъ адвокатскій пріемъ въ ссылкѣ на примѣры сходныя, за неимѣніемъ тожественнныхъ [1]). Такое обвиненіе можетъ взвести на ближняго лишь тотъ, кто думаетъ, что всѣ слова, формы и обороты, даже неупотребительные, встрѣчаются у писателя обязательно болѣе чѣмъ по одному разу. Пушкинъ употребилъ въ «Анджело» слово «увѣрчивость», и больше оно нигдѣ не попадается у него (да, кажется, и у другихъ). Слѣдуетъ ли отсюда, что «Анджело» не принадлежитъ Пушкину? Разумѣется, нѣтъ: «увѣрчивость» есть, очевидно, такъ называемое hàpax eiremènon (однажды сказанное), терминъ, извѣстный всякому, кто учился—ну, скажемъ, не русской исторіи, а риторикѣ или филологической критикѣ (которая — прибавлю во избѣжаніе недоразумѣній — не имѣетъ ничего общаго съ газетной). Но, можетъ быть, здѣсь ошибка въ рукописи? Едва-ли, потому что прилагательное «увѣрчивый», хоть и не общеупотребительное, могло быть

[1]) Я вижу адвокатскій пріемъ во всей защитѣ Зуевской поддѣлки и привожу этому примѣры. *А. С—нъ.*

употреблено Пушкинымъ, языкъ котораго, какъ извѣстно всякому..., не свободенъ отъ провинціализмовъ, а возможность произвольнаго образованія существительныхъ на—*ость* отъ прилагательныхъ подтверждается у него аналогіей такихъ примѣровъ, какъ «спокойность». «Истомный» у Пушкина нѣтъ, но у него есть съ одной стороны «истома», съ другой—«заботный; отсюда пропорція: «забота : заботный = истома : истомный» Это—пріемъ не Богъ вѣсть какой коварный... Еще менѣе понятно, что за адвокатская хитрость заключается въ томъ, что по поводу двухъ стиховъ, явно неправильныхъ, я отдаю справедливость добросовѣстности записывателя: вѣдь онъ же умѣлъ писать поэтическія произведенія «безупречнаго стиха и размѣра и безукоризненной риѳмы», какъ свидѣтельствуетъ г. А. К. въ «Письмѣ въ редакцію» того же «Новаго Времени» (№ 8586)?

Я не буду входить въ частности филологическихъ соображеній г. Суворина во второмъ «Маленькомъ Письмѣ»; оставлю въ сторонѣ и его эстетическія размышленія въ третьемъ (гдѣ, между прочимъ, онъ предположилъ для Пушкина необходимость чувствительной тирады Князя при встрѣчѣ съ дочерью и обогатилъ греческій языкъ русскимъ предлогомъ *пере* [1]) посредствомъ правописанія «пере-фраза»); воздержусь отъ перечня утвержденій, приписанныхъ мнѣ неосновательно,—например, что Пушкинъ не окончилъ

[1]) Г. Коршъ обогатилъ остроумныя изреченія, замѣтивъ опечатку. *А. С—нъ.*

«Русалки» по лѣни [1]) (какъ должно быть, и «Галуба», «Альфонса», «Опричника» и т. д.),—и остановлюсь только на примѣненномъ мною «механическо-филологическомъ пріемѣ», по поводу котораго въ четвертомъ «письмѣ» онъ разражается такимъ восклицаніемъ: «Вотъ какими учеными соображеніями втираютъ намъ очки: параллелизмъ, единоначатіе, градація и проч.». Этотъ жупелъ на главу такихъ простодушныхъ читателей, какъ г. Суворинъ, можетъ показаться чѣмъ-то «втирающимъ очки» только тому, кто не учился даже русской исторіи, а на самомъ

[1]) Пушкинъ говоритъ въ своихъ «Критическихъ замѣткахъ» по поводу пропущенныхъ строфъ въ «Евгеніи Онѣгинѣ»: «Что есть строфы въ Онѣгинѣ, которыя я не могъ, или не хотѣлъ напечатать — этому дивиться нечего. Но, будучи выпущены, онѣ прерываютъ связь разсказа и потому оставляется мѣсто, гдѣ имъ быть надлежало. Лучше было бы замѣнять эти строфы другими, или переплавлять и сплавливать мною сохраненныя. Но виноватъ, на это я слишкомъ лѣнивъ». Говоря объ этихъ признаніяхъ, г. Коршъ замѣчаетъ: «происходило это не отъ одной лѣности, какъ называетъ Пушкинъ свое отвращеніе отъ работы безъ вдохновенія, но и тѣмъ (отъ того?), что Пушкинъ, увлекаясь частностями, на которыя онъ былъ великій мастеръ, нерѣдко уклонялся отъ первоначальнаго плана и не зналъ, какъ свести концы съ концами». Этою цитатою изъ работы г. Корша я хочу сказать, что упрекъ его мнѣ въ данномъ случаѣ я признаю справедливымъ. Думаю, однако, что Пушкинъ, ссылаясь на лѣность, не все сказалъ. Онъ долженъ былъ постоянно имѣть въ виду цензуру и обходить всяческія препятствія. Отъ того онъ такъ мало исправлялъ напечатанныя вещи. Онѣ требовали новыхъ хлопотъ и проч.

А. С—нъ.

дѣлѣ онъ представляетъ собою сличеніе особенностей поэтическаго слога Пушкина съ таковыми-же—въ окончаніи «Русалки». Кѣмъ былъ разобранъ языкъ Пушкина съ этой стороны до моей попытки? Сколько мнѣ извѣстно,—никѣмъ. А по г. Суворину выходитъ, что Д. П. Зуевымъ [1]). Въ самомъ дѣлѣ, одно изъ двухъ: или покойный Зуевъ, не говоря никому ни слова о своихъ научныхъ трудахъ по языку Пушкина, изслѣдовалъ этотъ предметъ до тонкости, или—его запись подлинна. То же разумѣй и о стихѣ. Иного выбора нѣтъ, если мой разборъ этихъ частей Пушкинской формы вѣренъ. Вотъ, слѣдовательно, на какой пунктъ обратилъ бы свое вниманіе критикъ, понимающій дѣло, а не на такіе пустяки, какъ вопросъ о томъ, точно ли бумага, на которой писано окончаніе «Русалки», сфабрикована въ 1836 г., и таковъ ли тамъ почеркъ, какимъ писалъ Д. П. Зуевъ, когда ему было 14 лѣтъ,—словно онъ не могъ переписать свою запись позже! А съ какой готовностью онъ переписывалъ, можно заключить, напримѣръ, изъ того, что, познакомившись со мной

[1]) Г. Коршъ повторяетъ мои слова. Я сказалъ, что до г. Корша «никто такъ обстоятельно не говорилъ объ этомъ предметѣ (составѣ и ритмѣ стиха Пушкина) и никто не вносилъ въ подобное изученіе столько тщательнаго и вполнѣ научнаго труда». Почему же по моему будто бы выходитъ, что это г. Зуевъ сдѣлалъ? Поддѣлывать и изучать не одно и то же. *А. С—нъ.*

въ 1897 г., онъ, несмотря на свой преклонный возрастъ и слабость, переписалъ для меня нѣсколько своихъ поэтическихъ переводовъ и оригинальныхъ произведеній. Кстати о личныхъ свойствахъ покойнаго, о которыхъ запрашиваетъ г. Суворинъ въ своемъ четвертомъ «письмѣ» и отвѣчаетъ г. А. К. въ «Письмѣ въ редакцію» (Нов. Вр. № 8586; жаль только, что онъ не подписался полной фамиліей). Я видѣлъ Дмитрія Павловича только разъ, причемъ, конечно, не рѣшился обревизовать ту шкатулку на лѣвомъ, противоположномъ отъ меня, концѣ письменнаго стола, изъ которой онъ вынулъ свою рукопись для отвѣта на мои вопросы о нѣкоторыхъ мѣстахъ напечатаннаго г. Бартеневымъ текста. И въ то время онъ отличался весьма значительною памятью на стихи. Передъ Пушкинымъ онъ благоговѣлъ, а въ разговорѣ о своей записи и взведенныхъ на нее подозрѣніяхъ онъ выразился приблизительно такъ: «Господи, Боже мой! да развѣ я сталъ бы выдавать это за Пушкинское, если бы самъ умѣлъ такъ писать?». Онъ былъ до такой степени чуждъ всякой хитрости, что мнѣ трудно было растолковать ему важность того обстоятельства, что въ печатномъ текстѣ его запись начинается какъ разъ тамъ, гдѣ обрывается напечатанная по смерти Пушкина часть «Русалки», и, наконецъ, чуть не съ сердцемъ, вынулъ онъ свою рукопись и прочелъ ея начало, не переданное имъ г. Бартеневу только изъ-за того, что оно было извѣстно раньше,—

несмотря даже на присутствіе варіантовъ въ его редакціи. Что касается его наклонности къ частичнымъ передѣлкамъ чужихъ стихотвореній, о которой упоминаетъ г. А. К., то она сказалась и въ окончаніи «Русалки» замѣной намека на неприличную пословицу (которой г. Суворинъ, однако, не знаетъ) полнымъ текстомъ другой, приличной по соображеніямъ нравственнымъ, какъ мнѣ объяснилъ самъ Дмитрій Павловичъ. По обнародованіи его подлинной записи (каковое не только очень желательно, но теперь, по его смерти, и вполнѣ возможно) можетъ оказаться, что и въ сообщенной имъ мнѣ поправкѣ слова «псица» есть также стыдливая церковно-славянская замѣна чисто русскаго слова, которое и находится въ пословицѣ. Но вѣдь такая передѣлка, если и не говоритъ въ пользу понятій покойнаго о критикѣ текста, свидѣтельствуетъ о принадлежности сообщеннаго имъ текста скорѣе другому лицу, державшемуся иныхъ взглядовъ на литературное приличіе, нежели ему. Къ тому-же сводится и заключеніе изъ его собственныхъ стихотворныхъ произведеній, оригинальныхъ и переводныхъ, въ которыхъ нѣтъ ни малѣйшаго сходства съ окончаніемъ «Русалки». Всѣ эти и другія соображенія, приведенныя въ моемъ изслѣдованіи, заставили не одного меня признать подлинность этого окончанія, а и нѣсколькихъ знатоковъ и поклонниковъ Пушкина, не только молодыхъ, но и старыхъ, изъ современниковъ моего отца, «любителя парадоксовъ», хотя эти почтен-

ные люди и не состоятъ съ нимъ ни въ какомъ родствѣ. Сколько членовъ Академіи Наукъ раздѣляютъ этотъ взглядъ и сколько изъ нихъ не согласны съ нимъ,—я не знаю, но допущеніе моего изслѣдованія на страницы академическаго изданія обусловлено, во всякомъ случаѣ, не вѣрой въ подлинность защищаемаго мною текста, а нѣкоторыми достоинствами научной стороны моего труда, которыя снисходительно призналъ и г. Суворинъ въ концѣ второго «Маленькаго Письма». Поэтому, хотя бы даже письмо г. А. К. въ самомъ дѣлѣ окончательно разрѣшало вопросъ о поддѣлкѣ «Русалки» г. Зуевымъ, какъ говоритъ г. Суворинъ въ пятомъ «письмѣ» (а показаніе г. А. К. ровно ничего не разрѣшаетъ), Академіи все-таки не за чѣмъ было бы «смѣяться горькимъ смѣхомъ»: она ни однимъ словомъ не поощряла «усилій ординарнаго академика поддѣлать г. Зуева подъ Пушкина». Къ тому же, въ то время, когда я писалъ свое изслѣдованіе, я былъ только членомъ-корреспондентомъ Академіи, и то не по Отдѣленію Русскаго Языка и Словесности, а въ какихъ отношеніяхъ я состою къ ней теперь, г. Суворину оффиціально неизвѣстно, и потому онъ поступилъ бы приличнѣе, если бы удержалъ въ себѣ преждевременную квалификацію моего общественнаго положенія.

Ѳ. Коршъ.

25 января
1900 г.

XXII.

Маленькія Письма.

CCCLXXIII.

VI.

(«Новое Время», 7-го февраля 1900 г., № 8602).

Я долженъ возвратиться къ Пушкину и къ поддѣлкѣ окончанія его «Русалки». Случилось происшествіе едва вѣроятное: ученый филологъ, Ѳ. Е. Коршъ, защитникъ поддѣлки г. Зуева и его сотрудникъ по поддѣльнымъ стихамъ, отвѣчаетъ мнѣ въ № 33 «Спб. Вѣд.» длинной статьей. Желая сохранить свое величіе, изъ котораго въ оба глаза смотрятъ безсиліе и раздраженіе, онъ вступаетъ въ полемику съ журналистомъ не ради себя, а ради Академіи. Я будто бы «открылъ цѣлый походъ противъ Академіи за выборы «литературныхъ» [1]) (почетныхъ) академиковъ» и что я будто бы, по академическому выраженію г. Корша, «вылилъ содержаніе своего критическаго ушата на него съ тѣмъ расчетомъ, чтобы брызги задѣли Академію». Онъ самоот-

[1]) Слово г. Корша. «Почетные» суть только «литературные».

*

верженно принялъ весь ушатъ на себя, но не позволяетъ, чтобы брызги коснулись Академіи. Онъ великодушенъ.

Я думаю, что Академія не нуждается въ его защитѣ: не она вопіетъ къ нему, а онъ къ ней. Но оставимъ это втуне. Ограничусь лишь фактами. Я написалъ одну объяснительную статью объ академическомъ уставѣ, въ которой ни мыслію, ни намѣреніемъ не нападалъ на Академію. Г. Буренинъ и г. Сигма характеризовали литературную личность нѣкоторыхъ новыхъ академиковъ и указали имена нѣсколькихъ почтенныхъ литераторовъ, достойныхъ стать академиками. Неужели это «походъ»? Или для защиты неправаго дѣла, которое имѣетъ всѣ качества, чтобы превратиться въ «глупое дѣло», необходимо брать въ руки всякое оружіе и не брезгать ни намеками, о которыхъ пока умолчу, ни совершеннымъ искаженіемъ моихъ словъ, ни умолчаніемъ о моихъ доводахъ, ни выдумками?

Оружіе низменное! Но такъ какъ г. Коршъ заявляетъ, что «филологическая критика ничего не имѣетъ общаго съ газетной», то очевидно, что это оружіе есть необходимая принадлежность филологической критики...

Я этого не думалъ.

Академіи, какъ учрежденія, я не касался и мнѣ не было до нея дѣла. Но мнѣ было и есть дѣло до Пушкина, которому навязываютъ бездарную стихотворную работу какого-то маньяка. До этого есть дѣло и всему русскому обществу,

о чемъ очень ярко говорятъ получаемыя мною письма. Академія, конечно, могла бы воздержаться отъ участія въ этомъ слишкомъ безцеремонномъ «навязываніи» и посовѣтовать ученому печатать свои «изслѣдованія» гдѣ ему угодно, но только не въ своихъ «Извѣстіяхъ»; но, по свидѣтельству самого г. Корша, она руководилась не «вѣрой въ подлинность текста, защищаемаго» имъ, «а нѣкоторыми достоинствами научной стороны труда его», которыя и я призналъ и о чемъ упоминаетъ и самъ апостолъ новаго ученія о поддѣлкѣ. Онъ упоминаетъ еще о томъ, что есть члены Академіи наукъ, которые не раздѣляютъ его взглядовъ, и есть такіе, которые оные раздѣляютъ; не знаетъ только онъ ихъ количества. Изъ этого свидѣтельства прямой выводъ противъ г. Корша, ибо «брызги» изъ моего «ушата» могли попасть не въ Академію, а только въ нѣкоторое количество академиковъ, быть можетъ весьма равнодушныхъ къ Пушкину по своей спеціальности или по своимъ взглядамъ на поэзію...

Обращаюсь къ дѣлу или «разъясненію истины», какъ характеризуетъ свой отвѣтъ г. Коршъ. Мнѣ думается, что вся его истина поддѣльная. «Изъ недовѣрія къ обстоятельствамъ сохраненія какого-либо памятника выводить непремѣнно его подложность есть крупная наивность», говоритъ онъ. Почему? Онъ не объясняетъ, а прямо называетъ «пустяками» поставленный мною вопросъ о бумагѣ, на которой г. Зуевъ записалъ «Ру-

салку» въ 1836 г., и вопросъ объ его почеркѣ:— «словно онъ не могъ переписать свою запись позже»—дѣйствительно наивно замѣчаетъ нашъ ученый. Въ самомъ дѣлѣ, неужели поддѣлка не требуетъ прежде всего изслѣдованія своего происхожденія? Неужели каждый клочокъ бумаги со стихами, выдаваемыми за Пушкинскіе, требуетъ прежде всего довѣрія и затѣмъ «сличенія особенностей поэтическаго слога Пушкина съ таковыми же» на клочкѣ бумаги неизвѣстнаго происхожденія и неизвѣстнаго года? Неужели это научно? Да вѣдь «поэтическій слогъ» Пушкина заполонилъ всю нашу литературу, ему подражали всѣ, всѣ старались его усваивать и даже большія поэтическія дарованія не избѣгли такого плѣна. Эта была главная глубокая рѣка, въ которую впадали всѣ остальныя, не только стихотворныя, но и произаическія. Н. П. Лихачевъ въ своемъ безподобномъ по трудолюбію и вниманію изслѣдованіи «Палеографическое значеніе бумажныхъ водяныхъ знаковъ» доказалъ, какое важное значеніе имѣетъ бумага рукописей, и по ней онъ опредѣлилъ, что, напримѣръ, рукописи, относимыя къ XIV вѣку, написаны въ XV и проч. Описывая рукописи Пушкина, г. Якушкинъ сообщалъ вездѣ водяные знаки и по нимъ исправлялъ время сочиненія тѣхъ или другихъ стиховъ. Въ теченіе 40 лѣтъ было время г. Зуеву десять разъ поддѣлать, не только «переписать»; но если онъ, по словамъ г. Корша, «благоговѣлъ передъ Пушкинымъ», то какъ же онъ могъ бросить

первоначальную свою рукопись, которая для него должна быть драгоцѣнна? Но все это «пустяки», по мнѣнію г. Корша. Онъ преисполнился такой вѣры въ г. Зуева, что когда сей маньякъ вынулъ при немъ изъ шкатулки свою рукопись и прочелъ изъ нея нѣсколько стиховъ, нашъ ученый не посмѣлъ ее разсмотрѣть. Онъ глядѣлъ на г. Зуева и запоминалъ его хитроумныя слова. Г. Бартеневъ печаталъ «окончаніе» «Русалки» со списка и только послѣ моихъ статей, теперь, г. Коршъ немного образумился и заявляетъ желаніе, чтобы «подлинная запись» была обнародована. Но съ этого слѣдовало начать. Да, какъ у Гоголя: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина»... Ужъ одно это подрываетъ все «изслѣдованіе» г. Корша и свидѣтельствуетъ объ его необыкновенномъ легковѣріи, которое онъ еще усугубляетъ въ своемъ отвѣтѣ мнѣ, говоря: «Если ужъ не вѣрить показанію Д. П. Зуева, отчего не предположить, что въ его руки попалъ подлинникъ, можетъ быть тотъ самый, который, по свидѣтельству (?) А. О. Смирновой, былъ переданъ Пушкинымъ друзьямъ не задолго до поединка? Въ такомъ случаѣ было бы понятно (?!) и молчаніе о произведеніи Пушкина въ теченіе 40 слишкомъ лѣтъ». Да зачѣмъ же предполагать всякій вздоръ, ни на чемъ не основанный, когда просто даже безумно и «предполагать», чтобы Пушкинскій подлинникъ могъ быть такимъ нелѣпымъ и бездарнымъ, какимъ мы имѣемъ будто бы его въ «записи» г. Зуева?

Будучи легковѣрнымъ, онъ претендуетъ на остроуміе. Какъ говорилъ я (№ 8580 «Нов. Вр.», стр. 170 этой книги), слово «раскатъ» показалось г. Коршу темнымъ, ибо оно фортификаціонный терминъ; Пушкинъ употребилъ его въ «Полтавѣ» при описаніи Бендеръ, напомнившемъ нашему ученому Голландію съ ея вѣтряными мельницами, а не южную Россію, гдѣ и теперь около Бендеръ и другихъ поселеній множество вѣтряныхъ мельницъ. Онъ могъ сказать: «Я знаю Голландію, а южной Россіи не знаю, хотя я русскій, а не голландецъ». Но говорить, что это описаніе темно, потому что г. Коршъ не знаетъ того, что зналъ Пушкинъ, и потому что въ немъ находится слово «раскатъ»—нелѣпо. Я замѣтилъ, что слово «раскатъ» извѣстно всѣмъ, «кто учился русской исторіи». Вотъ это послѣднее выраженіе такъ понравилось ему, что онъ ѣздитъ на немъ, какъ ребенокъ на палочкѣ, и повторяетъ нѣсколько разъ съ ужимочками юмориста: Ха, ха, «кто учился русской исторіи»!.. Ха, ха... «кто учился русской исторіи» и даже такъ: «Ха, ха! кто учился»... Точно бѣдный мальчикъ, котораго сконфузили и который начинаетъ хихикать. Смѣшонъ тутъ не я, а г. Коршъ, ибо слово «раскатъ» находимъ въ лѣтописяхъ и у нашихъ историковъ, напримѣръ у Костомарова. Оно, быть можетъ, не находится въ учебникахъ по русской исторіи, но оно стоитъ во всѣхъ словаряхъ. Оно есть въ «Академическомъ Словарѣ» еще изд. 1822 г. Это слово зналъ Пушкинъ, а что зналъ Пушкинъ,

то его читатели обязаны были знать. У Шекспира есть множество выраженій, которыя далеко не всѣмъ его современникамъ были извѣстны, и кто же его за это упрекаетъ? Всякій великій поэтъ есть и популяризаторъ идей и понятій; онъ говоритъ о нравахъ не только людскихъ, но фантастическихъ и мистическихъ; онъ беретъ факты, образы и сравненія изъ животнаго царства и растительнаго и проч. и всякій великій писатель поэтому обогащаетъ языкъ новыми словами и вводитъ въ употребленіе даже техническія слова, если они нужны для его творчества. Примѣровъ можно привести множество, но это такъ всѣмъ извѣстно, что распространяться нечего. Кстати о Шекспирѣ. Я указалъ на словарь къ Шекспиру Мэри Коуденъ-Клэркъ (The Complete Concordance to Shakespeare), о которомъ доселѣ не упоминалъ ни одинъ изъ переводчиковъ и изслѣдователей Шекспира, если сіи послѣдніе у насъ обрѣтаются, указалъ по поводу фразеологическихъ параллелей изъ Пушкина, сдѣланныхъ г. Коршемъ. Онъ мнѣ говоритъ теперь, что «по части изученія писателей со стороны техники, онъ (я, то-есть) такъ невиненъ, что смѣшиваетъ фразеологическія параллели съ глоссаріемъ». Я ничего не смѣшиваю: я указалъ на этотъ глоссарій къ Шекспиру потому, что въ немъ *легко всякому*, не выдавая себя за ученаго, набрать множество фразеологическихъ параллелей, подобныхъ тѣмъ, которыя нашъ ученый набралъ изъ Пушкина, и убѣдиться, что Шекспиръ само-

повторяется, какъ самоповторяются всѣ писатели. По этому глоссарію можно провѣрить всякаго критика въ родѣ г. Корша. Какую бы неправильность онъ ни указалъ, мнѣ стоитъ зацѣпиться за слова выписанной имъ фразы, чтобы отыскать въ Шекспирѣ параллельныя выраженія. За неимѣніемъ у насъ Пушкинскаго словаря, г. Коршъ играетъ читателями, какъ ему угодно, при помощи своего сборника фразъ. Онъ понималъ эту выгодную позицію свою и потому говоритъ, ничѣмъ не смущаясь. Я и хотѣлъ намекнуть г. Коршу, что этотъ глоссарій къ Шекспиру, работы скромной англичанки, есть трудъ неизмѣримо болѣе почтенный и полезный, чѣмъ «фразеологическія параллели» изъ Пушкина, которыми похваляется г. Коршъ и которыя подобраны односторонне, для извѣстной цѣли и притомъ весьма узкой. Но и этимъ параллелямъ я отдалъ должное, сказавъ, что г. Коршъ «далъ нѣсколько матеріаловъ» для книги, подобной книгѣ Мэри Коуденъ-Клэркъ. Наконецъ я веду съ г. Коршемъ споръ не филологическій и техническій, а эстетическій и литературный. На этой почвѣ я считаю себя по крайней мѣрѣ равнымъ ему. Я тридцать лѣтъ пишу о театрѣ и въ этой области пріобрѣлъ нѣкоторое значеніе. И о «Русалкѣ» я говорю, какъ драматическій критикъ. Я могу признать, что г. Коршъ знаетъ всѣ тайны филологіи, но я посылаю ему упреки не за филологію, а за то, что онъ свою науку употребляетъ на дрянное дѣло; за то, что онъ своими софизмами играетъ, какъ фокусникъ,

и поддерживаетъ глупое дѣло, пошлую поддѣлку, не стоящую выѣденнаго яйца. Я доказываю ему, что безразсудное примѣненіе имъ техническаго метода есть ложь и обманъ, а въ лучшемъ случаѣ—самообманъ, не рекомендующій ни его эстетическаго вкуса, ни пониманія имъ обязанностей ученаго, который не имѣетъ права заниматься пустяками и свой самообманъ навязывать обществу и Академіи Наукъ.

Г. Коршъ не возразилъ и на десятую долю моихъ замѣчаній, но, какъ указано выше, часто искажаетъ мои слова и приписываетъ мнѣ то, чего у меня нѣтъ. Вотъ еще два примѣра: «Вывода,—говоритъ онъ, который мнѣ навязываетъ г. Суворинъ, будто изъ повтореній въ окончаніи «Русалки» слѣдуетъ его подлинность, у меня разумѣется нѣтъ». Это неправда: нигдѣ я такого вывода не дѣлалъ. Я привелъ слова г. Корша (№ 8580 «Нов. Вр.», стр. 173 этой книги), что если «заключительныя сцены «Русалки» были написаны Пушкинымъ, то мы (т.-е. г. Коршъ) должны ждать *повтореній всякаго рода*». И тогда, и теперь я считаю эти слова ученаго филолога прямо безсмысленными по отношенію къ Пушкинскому творчеству. Нигдѣ я не говорилъ и такой глупости, что «всѣ слова, формы и обороты, даже не употребительные, встрѣчаются у писателя обязательно болѣе чѣмъ по одному разу». А г. Коршъ даетъ понять, что именно я могу быть такого мнѣнія, и спѣшитъ даже указать, что въ «Анджело» Пушкинъ употребилъ слово «увѣрчивость» и больше

оно нигдѣ у него не попадается. «Слѣдуетъ ли отсюда, спрашиваетъ онъ, что «Анджело» не принадлежитъ Пушкину? И побѣдоносно самъ себѣ отвѣчаетъ: «Разумѣется, нѣтъ». Справедливѣе этого г. Коршъ ничего не говорилъ, но для чего это сказано? Неужели для показанія своей учености? Конечно. Въ видѣ устрашающаго «жупела», онъ приводитъ и терминъ, обозначающій «единожды сказанное» какимъ-нибудь писателемъ, именно hápax eirеménon, и грозно замѣчаетъ, что «филологическая критика не имѣетъ ничего общаго съ газетной». Но если она ничего не имѣетъ общаго ни со здравымъ смысломъ, ни съ изящнымъ вкусомъ, то вѣдь эта филологическая критика, насколько она касается подлинности «записи», есть тоже въ своемъ родѣ hápax eirеménon, ни мало не завидное...

До другого раза: въ отвѣтѣ г. Корша полтысячи строкъ...

CCCLXXIV.

VII.

(«Новое Время», 11-го февраля 1900 г., № 8606).

Роковая ошибка нашего филолога заключается въ томъ, что онъ свою науку считаетъ талисманомъ для опредѣленія высотъ и низинъ поэтическихъ произведеній. Возражая мнѣ на упрекъ ему, что, подбирая погрѣшности Пушкина, онъ

«не заботился о вкусѣ, хотя имѣлъ дѣло съ поэтическими произведеніями», онъ замѣчаетъ: «это также очень наивно; точно форма и содержаніе одно и то же». Но смѣю думать, что форма и содержаніе поэтическихъ произведеній у такого поэта, какъ Пушкинъ, такъ тѣсно слиты во-едино, что раздѣлять ихъ почти невозможно. Во всякомъ случаѣ и форму, и содержаніе надо постоянно имѣть въ виду, ибо то прекрасное содержаніе украшаетъ собою форму, то изящная форма даетъ значеніе содержанію неважному. Произведеніе тѣмъ болѣе значительно, чѣмъ совершеннѣе форма и глубже содержаніе и чѣмъ болѣе гармонируютъ они между собою. Овладѣть одной формою однако гораздо легче: ремесленникъ высѣкаетъ изъ мрамора созданіе геніальнаго скульптора, ремесленникъ, упражняясь усердно въ стихотворномъ искусствѣ, пишетъ недурные стихи. Но нашъ ученый такъ отдѣлилъ форму отъ содержанія, что закопался въ нее по уши съ микроскопомъ филологіи, и не замѣтилъ того, что содержаніе очутилось на послѣднемъ мѣстѣ [1]). Отсюда всѣ его ложныя сравненія и выводы, отсюда его самоувѣренность. Она у него такъ велика, что онъ не замѣчаетъ яркихъ не-

[1]) Строгій къ Пушкинскому стиху, г. Коршъ совсѣмъ не требуетъ отъ Зуевскаго — ни «изящества», ни «содержательности», ни «поэтичности», ни «логической и эстетической необходимости» — всего того, что есть, по его же словамъ, въ истинно-Пушкинскихъ стихахъ.

совершенствъ даже своего техническаго метода. Онъ говоритъ: «Одно изъ двухъ, или покойный Зуевъ, не говоря никому ни слова о своихъ научныхъ трудахъ (?) по языку Пушкина, изслѣдовалъ этотъ предметъ до тонкости, или — его «запись» подлинная. То же разумѣй и о стихѣ. Иного выбора нѣтъ, если мой разборъ этихъ частей Пушкинской формы вѣренъ». Форма, форма! Да вѣдь есть что нибудь за формою. И что за важность изучить форму. Г. Коршъ до «тонкости», по его же словамъ, изучилъ языкъ Пушкина, его форму—что же онъ можетъ сочинять по-Пушкински? Неужели г. Коршъ не допускаетъ, что и безъ всякихъ ученыхъ трудовъ можно вчитаться въ Пушкина такъ, что усвоишь его особенности, эти параллелизмы, единоначатія, градаціи и т. д., и научишься компилировать стихи, похожіе, при первомъ взглядѣ по крайней мѣрѣ, на стихи Пушкина? На подражательныхъ поэтахъ лучше всего это видно. Это видно и на современныхъ намъ поэтахъ, которые въ стихотворной формѣ достигли замѣчательнаго совершенства, но содержанія у нихъ мало: или оно ничтожно, или оно—перепѣвы, какъ говорится. Въ своей критикѣ «изслѣдованія» г. Корша я старался говорить и о содержаніи, и о формѣ «Русалки». А г. Коршъ даже относительно *формы* свои выводы основалъ на случайностяхъ. Я говорилъ уже (№ 8591 «Новаго Врем.») по поводу книги г. Сумцова, что прежде всего необходимо опредѣлить *точно* отношенія несовершенства

Пушкинскаго стиха къ его совершенству и этимъ отношеніемъ, этой пропорціей, измѣрить поддѣлку. Если у Пушкина, напримѣръ, на сто стиховъ пять несовершенныхъ, темныхъ, прозаическихъ, неуклюжихъ, то поддѣлка только тогда похожа на оригиналъ, когда въ ней такія же отношенія. Сдѣлалъ ли это г. Коршъ?—Нѣтъ. У него нѣтъ стало быть и *вѣрнаго* мѣрила даже для *формы* Пушкинской и для сравненія ея съ формой поддѣлки... [1]).

Относительно содержанія г. Коршъ коснулся въ своемъ отвѣтѣ мнѣ только мимоходомъ, сказавъ, что я будто бы «предположилъ для Пушкина необходимость чувствительной тирады для Князя съ дочерью». Я говорилъ не о тирадѣ— тутъ у моего противника, очевидно, иронія—а о разработкѣ трудной темы. Я говорилъ объ этой сценѣ подробно (№ 8582 «Новаго Врем.», стр. 188 этой книжки), доказывая все безсиліе г. Зуева справиться съ подобною задачею. О необходимости

[1]) Г. Южаковъ, разбирая «съ придирчивой строгостью» 496 стиховъ Пушкинской «Русалки», нашелъ только 8 несовершенныхъ. Но изъ этихъ 8 надо исключить стихъ («Я каждый день о мщеньи помышляю»), въ которомъ г. Южаковъ нашелъ только 4 стопы, тогда какъ ихъ пять. Слѣдовательно 7 стиховъ. Но къ этимъ 7-ми онъ дѣйствительно придирчиво строгъ, какъ читатель самъ это можетъ увидѣть. (См. стр. 130—131 этой книги). Если мы составимъ пропорцію: $496 : 7 = 228 : x$, то получимъ, что на 228 стиховъ возможно только 3 несовершенныхъ. А въ «записи» тотъ же г. Южаковъ, очень къ ней снисходительный, находитъ около 90 стиховъ совсѣмъ плохихъ. Вотъ пропорція!!

родительскаго чувства я дѣйствительно говорилъ и страннаго здѣсь нѣтъ ничего. Въ самой пѣснѣ «Янышъ-Королевичъ», едва ли не самимъ Пушкинымъ сочиненной, — въ самой этой пѣснѣ говорится объ этомъ чувствѣ. Когда Водяница сказала, что она дочь Яныша-Королевича,—

Королевичъ при такомъ отвѣтѣ
Соскочилъ съ коня вороного,
Обнялъ дочь свою Водяницу
И, *слезами заливаясь*, молвилъ:
«Гдѣ, скажи, твоя мать—Елица?
Я слышалъ, что она потонула?»

И т. д. (см. стр. 62—65 этой книги). Надѣюсь, г. Коршъ увидитъ теперь, что мое мнѣніе основано на словахъ самого Пушкина, который прямо указываетъ на «чувствительность» Князя, родившуюся при видѣ дочери: онъ залился слезами, обнимая ее. Это и есть та тема, на которую я указывалъ и которую въ драматическомъ произведеніи надлежало бы развить полнѣе, какъ полнѣе въ немъ развиты остальныя темы «Яныша-Королевича». Краткостью г. Зуевъ скрывалъ свое убожество.

Я еще разъ возвращаюсь къ этой по-истинѣ убогой краткости въ тѣхъ же сценахъ, о которыхъ рѣчь идетъ (VI и VII). Русалочка говоритъ тираду. Князь произноситъ нѣсколько банальныхъ восклицаній. Мельникъ произноситъ тираду. Князь молчитъ. Мельникъ начинаетъ съ нимъ драку. Князь молчитъ. Русалочка кричитъ. Князь молчитъ. Русалка является изъ Днѣпра. Князь молчитъ. Русалка говоритъ тираду. Князь мол-

читъ. Она скрывается въ Днѣпръ. И тогда Князь говоритъ нѣчто безсмысленное и бросается въ Днѣпръ. По-моему, все это доказываетъ бездарность г. Зуева. А г. Коршъ говоритъ: «совсѣмъ по Пушкински!» Гдѣ же онъ нашелъ что-нибудь подобное у Пушкина? Въ какомъ произведенiи Пушкинъ оставляетъ своего героя безсловеснымъ въ сильномъ драматическомъ столкновенiи и гдѣ онъ мгновенно его умерщвляетъ, чтобъ отъ него отдѣлаться? Смерть Донъ-Жуана изображена коротко, но несмотря на то, что Донъ-Жуана держитъ въ своей каменной рукѣ Командоръ, Донъ-Жуанъ въ эту минуту говоритъ вдвое больше, чѣмъ Князь въ «Русалкѣ». Борисъ Годуновъ передъ смертью произноситъ большой монологъ, передавая своему сыну свои взгляды на управленiе страной. Въ «Скупомъ» баронъ умираетъ отъ удара, но и въ этомъ случаѣ умирающiй говоритъ передъ смертью вдвое больше, чѣмъ Князь. Въ «Моцартѣ и Сальери» отравленный Моцартъ играетъ «Requiem» и говоритъ еще монологъ, чувствуя уже себя нездоровымъ. Гдѣ же вы, г. профессоръ, нашли у Пушкина такую безсмысленную краткость? Смерть Княгини обработана Зуевымъ тоже съ краткостью поддѣльщика, лишеннаго всякаго дарованiя. Ей подаютъ обручальное кольцо, она говоритъ: «Кольцо?.. Кольцо!.. Охъ, сердце!!!» и падаетъ мертвая. Четыре восклицательныхъ знака, одинъ вопросительный, два слова и междометiе... «Совсѣмъ по Пушкински!»..

Вотъ ужъ Пушкинъ-то могъ бы повторить слова Ломоносова, что дуракомъ онъ и у Господа Бога не желаетъ быть, а не то что...

На чемъ основали вы, г. Коршъ, свое право дѣлать сравненія между юношескими произведеніями Пушкина и его творчествомъ въ самые зрѣлые годы? Вы говорите теперь, что «подложность окончанія «Русалки» выводили между прочимъ изъ повторенія въ немъ нѣкоторыхъ оборотовъ (??), встрѣчаемыхъ въ первой, несомнѣнно подлинной части; потому (?!) у меня выведены въ особую группу самоповторенія въ одномъ и томъ же произведеніи, напримѣръ въ «Русланѣ и Людмилѣ».

Во-первыхъ, дѣло идетъ не о «нѣкоторыхъ оборотахъ»—г. Коршъ опять искажаетъ слова своихъ противниковъ[1]) и въ томъ числѣ мои—дѣло идетъ о повтореніи цѣлыхъ стиховъ, о повтореніи сценъ, мотивовъ, фактовъ изъ Пушкинской «Русалки». Мало того, г. Зуевъ на пространствѣ 228 стиховъ повторяетъ свои выраженія, напри-

[1]) Г. Коршъ въ своемъ изслѣдованіи, полемизируя съ критиками «записи», ни одного изъ нихъ не называетъ по фамиліи. Но, какъ видно по цитатамъ, онъ преимущественно останавливается на г. Буренинѣ и г. Якушкинѣ. Перваго онъ называетъ «самымъ строгимъ критикомъ», а послѣдняго—«самымъ основательнымъ». И вотъ этотъ самый основательный критикъ говоритъ: «Въ записи г. Зуева *очень много* повторяется такого, что мы знаемъ изъ начальныхъ сценъ драмы» и проч. См. стр. 97 этой книжки.

мѣръ русалки у него говорятъ о себѣ: «блистая красотой» и Княгиня говоритъ о себѣ же: «блистая красотой». Убожество его фантазіи такъ велико, что онъ не въ состояніи найти характерныя черты для рѣчей русалокъ и Княгини. Мамка въ послѣдней сценѣ дважды говоритъ одно и то же. Во-вторыхъ, въ «Русланѣ и Людмилѣ» 2,850 четырехстопныхъ ямбическихъ риѳмованныхъ стиховъ, а въ «Русалкѣ» 496 стиховъ пятистопнаго ямба, не риѳмованныхъ [1]). Въ-третьихъ, «Русалка» — драма, а «Русланъ и Людмила» — поэма. Въ-четвертыхъ, между послѣдней пѣснью «Руслана и Людмилы» и «Русалкой» прошло по крайней мѣрѣ 10 лѣтъ, которыя полны, между прочимъ, «Цыганами», «Полтавою», «Евгеніемъ Онѣгинымъ», «Борисомъ Годуновымъ» и самыми совершенными лирическими стихами. Какія же у васъ, г. Коршъ, права объяснять повторенія въ Зуевскомъ окончаніи «Русалки» самоповтореніями Пушкина въ «Русланѣ и Людмилѣ»? — Какія? — Невыразимое усердіе доказать то, чего даже и доказывать не слѣдовало...

Взяться за разсмотрѣніе поэзіи Пушкина со стороны ея недостатковъ заставили г. Корша, по его собственнымъ словамъ, критики, которые, при повѣркѣ подлинности стиховъ, приписываемыхъ Пушкину, «не знаютъ иного способа, кромѣ примѣненія мѣрила совершенства, опредѣляемаго

[1]) Въ этомъ числѣ и риѳмованные другихъ размѣровъ.

*

къ тому же ихъ собственнымъ вкусомъ. На такомъ конѣ далеко не уѣдешь».

Въ самомъ дѣлѣ? До сихъ поръ на такомъ конѣ мы доѣхали до сознанія того, что Пушкинъ—родоначальникъ современной литературы, что онъ великій поэтъ. Онъ питалъ и воспитывалъ цѣлыя поколѣнія писателей и вообще русскихъ людей. Если бы не было никакихъ критиковъ, еслибъ не было Бѣлинскаго съ его горячей мыслью и поэтическимъ чутьемъ къ изящному, Пушкинъ все таки свое дѣло сдѣлалъ бы и сдѣлалъ бы такъ же блистательно...

А вотъ вы, г. Коршъ, на своемъ конѣ доѣхали до г. Зуева, влюбились въ его вирши, приняли бездарнаго стихоплета за поэта, плохого компилятора по Пушкину за самого Пушкина, да и мало ли куда вы ни заѣхали на своемъ конѣ...

Я знаю, куда вы еще заѣхали на этомъ же конѣ. Я укажу на печатные источники, которыми пользовался г. Зуевъ и которые явились въ свѣтъ за 30 и за 20 лѣтъ до его «записи». Г. Коршу придется или опять утруждать академическія «Извѣстія» своимъ новымъ «изслѣдованіемъ», или честно сказать, что онъ увлекся своимъ методомъ и сдѣлалъ грубѣйшую ошибку, достойную и смѣха, и сожалѣнія о потраченномъ трудѣ...

Объ этомъ своемъ открытіи я скажу завтра.

CCCLXXV.

VIII.

(«Новое Время», 12-го февраля 1900 г., № 8607).

Вотъ мое окрытіе.

Инженеръ Зуевъ достроилъ «Русалку» Пушкина по Пушкину и... по инженеру А. И. Штукенбергу, который напечаталъ «Окончаніе» къ «Русалкѣ» Пушкина въ 1866 г. [1]), и по И. О. П., напечатавшему въ 1877 г. въ Москвѣ «Продолженіе и окончаніе драмы Пушкина Русалка».

Штукенбергъ служилъ при гр. Клейнмихелѣ и Чевкинѣ, построилъ Каменноостровскій и Крестовскій мосты и былъ долгое время старшимъ техникомъ петербургской городской управы. За-

[1]) «Осенніе листы. Собраніе стихотвореній Антонія Крутогорова. Спб. 1866 г.». На эту книгу и на ея сходныя черты съ «записью» я указывалъ уже въ № 8584 «Новаго Времени». Подъ псевдонимомъ А. Крутогорова писалъ Антонъ Иван. Штукенбергъ (род. 15-го августа 1816 г., ум. 17-го марта 1887 г., тайн. сов.). Экземпляръ его книги, находящійся въ моей библіотекѣ, пріобрѣтенъ мною у букиниста, въ плохомъ переплетѣ, но на оборотной сторонѣ первой крышки съ наклеенной вырѣзкой изъ газеты, заключающей некрологъ А. И. Штукенберга. Отсюда я и могъ раскрыть его псевдонимъ—переводъ его нѣмецкой фамиліи на русскій языкъ. Стоило бы узнать московскимъ библіографамъ и библіофиламъ, кто скрывается подъ литерами И. О. П.

мѣчательно, что Зуевъ, подождавъ полной описи бумагъ Пушкина и изданія его сочиненій Литературнымъ Фондомъ въ 1887 г., подождалъ и смерти А. И. Штукенберга (17-го марта 1887 г.), прежде чѣмъ читать свое «окончаніе» въ какомъ-то литературномъ кружкѣ, по словамъ г. Корша, 30-го ноября 1887 г.—въ Русскомъ Литературномъ Обществѣ онъ читалъ въ февралѣ 1889 г. «Русалка» г. Штукенберга состоитъ изъ 545 стиховъ, слѣдовательно немного болѣе Пушкинской (496 стиха) и вдвое болѣе Зуевской (228 стиховъ). Въ «Русалкѣ» И. О. П. около 680 стиховъ.

Такимъ образомъ г. Зуеву, кромѣ Пушкина, предстоялъ большой выборъ среди 1,225 стиховъ его продолжателей. Надо ему отдать справедливость, онъ собиралъ по зернышку и былъ краткокъ, словно предчувствуя, что за эту краткость сопричтутъ его къ лику великихъ поэтовъ. По моимъ свѣдѣніямъ, онъ былъ мастеръ на мистификаціи, а потому зналъ, что чѣмъ короче подделка, тѣмъ менѣе въ ней прорѣхъ. Онъ не развивалъ дѣйствія, не касался внутренняго, такъ сказать, быта русалокъ, которому продолжатели посвятили много стиховъ. «Русалка» Штукенберга написана правильнымъ четырехстопнымъ ямбомъ; И. О. П. плохо владѣлъ стихосложеніемъ, но и у него встрѣчаются хорошіе стихи, какъ и у Штукенберга. У И. О. П. Князь бросается въ Днѣпръ и Княгиня умираетъ, задушенная ожерельемъ, подаркомъ Русалки. У Штукенберга Князя уносятъ русалки въ Днѣпръ,

онъ проводитъ тамъ ночь, возвращается домой и снова тянетъ его на дно рѣки. Княгиня не пускаетъ его, являются русалки, онъ умираетъ, а за нимъ и Княгиня. Какъ я уже говорилъ, кончается драма у Штукенберга краткими словами Мамки въ 9 словъ, у Зуева въ 7. И Штукенбергъ, и И. О. П., кромѣ сценъ, которыхъ у г. Зуева нѣтъ, но изъ которыхъ онъ все-таки черпалъ, даютъ сцены свиданія Князя съ Русалочкой и Русалкой (послѣдней нѣтъ у г. И. О. П.), охотниковъ, хоръ русалокъ и сцены Княгини и Мамки, и всѣ эти сцены аналогичны съ Зуевскими не только по мотивамъ, но даже въ подробностяхъ, словахъ и выраженіяхъ, представляя иногда повторенія, чуть-чуть замаскированныя. У Зуева остается только одинъ сонъ Княгини да кое-что въ сценѣ охотниковъ—все остальное *похищено и компилировано*. Я долженъ къ этому прибавить только оригинальный Зуевскій колоритъ, какъ его неотъемлемую собственность, колоритъ стараго «сладострастника»—извѣстное выраженіе Достоевскаго въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Въ рѣчахъ Русалки, Русалочки, Княгини, охотниковъ — этотъ старчески-сладострастный колоритъ господствуетъ, чего нѣтъ ни въ Пушкинской «Русалкѣ», ни у продолжателей ея.

На эту черту «записи» указалъ еще г. Якушкинъ («Рус. Вѣд.» 1897 г. № 79, см. стр. 97 этой книги), назвавъ это «грубостью въ образахъ, въ выраженіяхъ». Г. Коршъ въ своемъ «изслѣдова-

нiи», сравнивъ указанныя ему мѣста, самъ находитъ «чуть ли не одну общую для всѣхъ (дѣйствующихъ лицъ) черту: въ нихъ есть намеки на половыя отношенiя». Но онъ старается устранить это обвиненiе, ссылаясь на слова Пушкина о неприличiи и грубости, сказанныя имъ по поводу «Бориса Годунова» и «Графа Нулина», и даже на письма Пушкина къ женѣ, точно эти письма онъ писалъ для публики. Но все это совсѣмъ не относится къ тому, что разумѣлъ, по моему мнѣнiю, г. Якушкинъ и разумѣю я. У Пушкина если и есть грубости и вольности, то это грубости и вольности здороваго и сильнаго русскаго человѣка. У г. же Зуева именно образы и положенiя, прiятныя безсильному сладострастнику...

Такъ какъ я уже указалъ, что конецъ «записи» аналогиченъ съ «окончанiемъ» «Русалки» Штукенберга, то и пойдемъ отъ этого конца къ началу «записи».

Сцена между Мамкой и Княгиней у Зуева. Мамка утѣшаетъ печальную Княгиню; она видѣла сонъ и ждетъ—не дождется своего мужа, искать котораго пошли охотники. Мамка говоритъ:

Вернется твой соколикъ,
Промъшкался охотой не впервые.

У Штукенберга: Мамка утѣшаетъ Княгиню, говоря, что Князь «найдется»:

На дичь должно быть красную напалъ
И *запоздалъ* одинъ въ лѣсу дремучемъ.

У Зуева: Мамка проситъ Княгиню успокоиться

(«спокойся»), «милостивъ Господь», «молись Христу», «Онъ посылаетъ радость и печаль».

У Штукенберга Мамка говоритъ:

Успокойся,
Княгинюшка, угодникамъ молись,

и еще:

«Во всемъ Господня воля».

Какъ видите, Зуевъ только перифразируетъ Штукенберга. У Зуева Княгиня говоритъ Мамкѣ о тоскѣ своей и о любви своей къ Князю съ упоминаніемъ о поцѣлуяхъ, опочивальнѣ и своей «трепетной груди», въ Зуевскомъ стилѣ сладострастника. Г. Коршъ находитъ, что «построеніе этого мѣста вполнѣ Пушкинское».

Но у Штукенберга то же самое, но въ его тонѣ: Княгиня тоскуетъ, молится Пречистой со слезами; она знаетъ, что Князь охладѣлъ къ ней:

А все же былъ при мнѣ желанный мой,
Я на него украдкой любовалась...

По моему, это мѣсто по своей правдѣ и простотѣ неизмѣримо болѣе подходитъ къ Пушкину.

У Зуева: Охотникъ приноситъ Княгинѣ обручальное кольцо Князя, которое вручаетъ ему Русалочка.

У Штукенберга: Ловчій приноситъ Княгинѣ ладанку и крестикъ, которые онъ поднялъ на берегу Днѣпра: по просьбѣ Русалочки, Князь сбросилъ ихъ съ шеи.

Предметы разные, но одинаково драгоцѣнные

для цѣлей драмы. Зуевъ перемѣнилъ только ладанку и крестъ на кольцо.

Мотивы и нѣкоторыя подробности для сцены охотниковъ заимствованы Зуевымъ у И. О. П. такимъ образомъ:

У Зуева одинъ изъ охотниковъ разсказываетъ, что слышалъ «княжій голосъ», «голосокъ ребенка» и женскій голосъ», то-есть Русалочки и Русалки.

У И. О. П. Ловчій разсказываетъ о «голосахъ», которые слышалъ Конюшій:

Одинъ былъ князя голосъ, а другой...
Мельничихинъ голосъ, что, говорятъ, давно
Въ рѣкѣ Днѣпрѣ утопла.

Зуевъ прибавилъ «голосъ ребенка» и разныя прилагательныя, которыхъ вообще у него много, за недостаткомъ мыслей.

У Зуева Старшій Охотникъ говоритъ, что не могутъ найти Князя:

Ни слѣда,
Ни голосу. Сказать, что *въ воду канулъ*.

ОДИНЪ ИЗЪ ОХОТНИКОВЪ.

Не говори... *Не въ добрый часъ догадка.*
О дочери, чай, мельника слыхалъ?
Красавица, какихъ и не бывало.

Г. Коршъ находитъ тутъ «художественную черту» и коментируютъ такъ: «Исходя изъ народнаго повѣрья, онъ (охотникъ) несомнѣнно еще прежде догадался, что утопленница сдѣлалась

русалкою,—такимъ существомъ, которое легко могло погубить Князя въ этомъ мѣстѣ; а гдѣ нечистая сила, тамъ говорить о ней не слѣдуетъ».

У И. О. П. почти буквально то же самое и то же «народное повѣрье»: Конюшій разсказываетъ о своихъ поѣздкахъ съ Княземъ на мельницу и о дочери Мельника:

Съ ней *по красотѣ* боярышня бъ любая
Не сравнилась. Жаль бѣдную! Не вынесла разлуки.
Здѣсь, баютъ, подъ мостомъ она въ тотъ
День и *утопилась.*

ОДИНЪ ИЗЪ ОХОТНИКОВЪ.

Наше мѣсто свято!
Зачѣмъ *утопленницу* здѣсь ты вздумалъ
Поминать. Далеко-ль до грѣха!

У Зуева хоръ русалокъ предшествуетъ сценѣ охотниковъ. Русалки хотятъ ихъ заманить «пѣсней страстной, огневой». У И. О. П. хоръ русалокъ является уже передъ уходомъ охотниковъ домой, такъ какъ ночью Князя не найдешь; Зуевскіе охотники тоже объ этомъ говорятъ, но рѣшаются подождать утра.

О монологѣ Русалки я говорилъ подробно (№ 8581, стр. 180 этой книги). Это старчески-сладострастный подборъ словъ, выраженный отвратительными стихами. Но вся тема этого монолога и даже отдѣльныя выраженія похищены Зуевымъ у Штукенберга и у И. О. П. У Штукенберга она «долго ждала Князя» (у Зуева: «долго, много лѣтъ

ждала); какъ у Зуева, она вспоминаетъ, что «жаждала любви», «томилась желаньемъ», онъ же «за любовь къ нему *покрылъ позоромъ*» (у Зуева: «румянецъ ты укралъ, *покрылъ позоромъ*»); онъ ее покинулъ, «равнодушно шелъ къ вѣнцу съ другой» (у Зуева «подъ вѣнецъ пошелъ съ княжною»); «съ любви къ нему и съ горя утопилась» (у Зуева «съ стыда, да съ горя въ воду—погибла!»); но «погибла я, да не совсѣмъ—и мстить еще могу, на то есть жизнь и сила» (у Зуева: «безумно мстить хотѣла за обманъ, дѣвичій стыдъ, страданья ревности, за объятья съ разлучницей»; у И. О. П. «разлучница лихая»). Далѣе у Зуева: «Увидѣла, забыла оскорбленья... *Не нагляжусь*». У Штукенберга Русалка тоже горитъ мщеніемъ, но увидѣла его и не можетъ не воскликнуть: «*Но все жъ любуюсь*. Какъ онъ *пригожъ!* Зачѣмъ онъ измѣнилъ?» Далѣе она говоритъ, что лицо у нея осталось то же самое, что̀ совершенно отвѣчаетъ понятію о русалкѣ, но разбито сердце, которое теперь «иное, русалкино, холодное, свободное, какъ на Днѣпрѣ волна», какъ и у Пушкина «холодная и могучая», «помышляющая о мщеньи» русалка. У Зуева Русалка опять переходитъ къ поцѣлуямъ: «И ждутъ уста твой поцѣлуй желанный, истомный, и т. д.» — соотвѣтствующее по аналогіи мѣсто у И. О. П. въ словахъ Князя: «въ твоихъ очахъ мой страстный взоръ отвѣтъ любви прочтетъ и губъ моихъ твой жаркій поцѣлуй одинъ лишь разъ коснется и замретъ» («истомный поцѣлуй»?). «Русалкину холодному

сердцу» у Штукенберга соотвѣтствуетъ у Зуева: «поцѣлуй мой—смерть».

У Зуева Русалка говоритъ Князю при дочери:

Какъ приглянулась дочь
Красавица, красавцемъ зачатая—
Тобой.

Г. Коршъ замѣчаетъ, что Русалочка «какъ демонъ лукава», она «ребенокъ, но изъ породы существъ, созданныхъ для заманиванія людей въ воду». У Штукенберга то же самое, что у Зуева, но Русалка говоритъ опредѣленнѣе и ближе къ коментарію г. Корша, указывая на дочь:

Вотъ наша дочь—теперь твоя ловушка!
Ты на нее взгляни-ка хорошенько:
Она такая же, какъ я, русалка!
И въ ней душа—притворство и лукавство,
И вотъ одно наслѣдство отъ тебя.

Г. Коршъ соглашается, что въ другихъ сценахъ «записи» есть повторенія изъ Пушкинской «Русалки», но монологъ Русалки за то онъ считаетъ вполнѣ оригинальнымъ. Изъ приведенныхъ сравненій видно, какова эта оригинальность. Кромѣ подбора сладострастныхъ словъ и трехъ послѣднихъ стиховъ, въ этомъ монологѣ все заимствованное. Прибавлю, что фраза Зуева «отъ слезъ угасли очи» есть повтореніе стиха Штукенберга «отъ безпрестанныхъ слезъ померкли очи»; стихъ въ хорѣ русалокъ, очень

плохомъ и по фактурѣ и по содержанію, «Говоръ листьевъ, птичекъ пѣнье», очень понравившійся г. Коршу, находитъ свое соотвѣтствіе въ стихахъ г. И. О. П. — «И волны, и листы, и птичекъ голоса всѣ дружно мнѣ поютъ», и проч.

«Запись», какъ извѣстно, начинается сценой Князя съ Русалочкой (шестая сцена въ изд. «Рус. Архива»). Я говорилъ (№ 8582 «Нов. Вр.», стр. 189 этой книги), что монологъ Русалочки состоитъ изъ 30 стиховъ, изъ нихъ 23 взяты или слово въ слово, или въ пересказѣ изъ Пушкинской «Русалки». Надо прибавить теперь, что Зуевскій «нашъ теремъ водъ прозрачныхъ» взятъ у И. О. П. — «нашъ теремъ изъ хрусталя прозрачнаго».

У Зуева Русалочка говоритъ:

Въ Днѣпрѣ меня, малютку, родила,
Сребристою волною спеленала.

У Штукенберга:

на днѣ Днѣпра
Я родилась; меня качали волны
И я росла въ подводномъ теремѣ.

И еще:

Мы (русалки) его (Князя) спеленали въ водѣ.

Стихъ изъ того же монолога, которымъ г. Коршъ восхищается —

— Ахъ, въ кустикѣ тамъ птенчикъ встрепенулся,

по замѣчанію г. Буренина, заимствованъ изъ Пушкинской пѣсни русалокъ:

Тише! Птичка подъ кустомъ
Встрепенулася во мглѣ.

Принявъ это все въ соображеніе, въ монологѣ Русалочки собственно Зуевскихъ мыслей нѣтъ никакихъ и изъ 30 стиховъ и трехъ не наберется, въ которыхъ не было бы заимствованій и перифразъ. Я говорилъ уже, что въ этой сценѣ Князь произноситъ всего 19 словъ, считая такія, какъ *и, я, съ, иль, по, кто, же, ты,* но и въ этихъ словахъ самое существенное «Дочь! Боже, дочь русалка!» взято у Штукенберга, гдѣ Князь восклицаетъ: «Мое дитя—бездушная русалка!»

Все это заимствованія безспорныя. Мало этого. Самое расположеніе всей шестой сцены и всѣ существенныя подробности ея взяты Зуевымъ у И. О. П. У него Русалочка тоже передаетъ родителю порученія своей мамы, но короче, точнѣе и лучше. Князь спрашиваетъ: жива ли ея мать? Русалочка отвѣчаетъ:

О, да, жива, и все тоскуетъ по тебѣ
И плачетъ. Все говоритъ: «Когда-то
Съ нимъ увижусь я опять!» И нынче, меня
На берегъ посылая, «скажи ему», такъ молвила
Она, «что все по прежнему его люблю и
Жду къ себѣ». Пойдемъ, отецъ, пойдемъ
Со мной, я покажу тебѣ хрустальный
Нашъ дворецъ, и рыбокъ золотыхъ, и чащу
Въ тростникѣ, гдѣ я одна при мѣсяцѣ
Сижу. Пойдемъ.

Хотя этимъ стихамъ недостаетъ правильной мѣры, они неизмѣримо лучше Зуевскихъ [1]). Зуевъ взялъ этотъ разсказъ и растянулъ его своими неуклюжими прибавками и заимствованіями у Штукенберга.

Вотъ какъ творилъ г. Зуевъ, или, по г. Коршу, Пушкинъ!

Въ то время, какъ Князь разговариваетъ съ дочерью (у И. О. П.), подходитъ Мельникъ и подслушиваетъ. Князь уговариваетъ Русалочку идти къ нему. Мельникъ говоритъ про себя:

Бездѣльникъ князь!
Въ свой теремъ внучку хочетъ заманить.

У Зуева Мельникъ говоритъ не про себя, а прямо Князю, но совершенно то же самое:

Не ласкою ль обманной,
Какъ дочь мою, и внучку погубить
Замыслилъ!

Зуевъ чуть-чуть измѣняетъ сценарій противъ И. О. П., но слѣдуетъ за нимъ во всѣхъ подробностямъ. У Зуева Мельникъ является тогда,

[1]) Вотъ еще, опять неправильные, но поэтическіе стихи, до какихъ Зуеву далеко:

Чуть плещется прозрачная волна,
О тихій берегъ ударяясь, и тихій разговоръ
Со мной ведетъ она, у ногъ моихъ
Струями разбѣгаясь, и вторитъ
Ей задумчивый тростникъ, при легкомъ
Вѣтеркѣ звуча и наклоняясь. Какъ
Сладокъ ихъ таинственный языкъ!

когда Князь беретъ на руки Русалочку и цѣлуетъ (у Штукенберга онъ беретъ ее и «прижимаетъ къ груди»). У И. О. П. Мельникъ, какъ уже сказано выше, выходитъ ранѣе и подслушиваетъ. У Зуева Русалочка остается и кричитъ: «Мама, мама!». На этотъ крикъ является Русалка, отчитываетъ Князя и онъ бросается въ воду [1]). У И. О. П. Русалочка не дается цѣловать и кидается въ воду. Князь идетъ за нею, желая ее спасти. Тогда Мельникъ бросается на него. Борьба, какъ у Зуева, но Князь старается вырваться. Мельникъ тащитъ его въ лѣсъ и говоритъ монологъ, поразительно схожій съ Зуевскимъ. Вотъ этотъ монологъ у Зуева:

У ворона—*я воронъ*—клювъ остеръ,
И когти есть; онъ защитить сумѣетъ;
Онъ крыльями могучими собьетъ
И острыми когтями сердце вырветъ;
Онъ *очи выклюетъ*, княжія очи!
И дочери *на дно рѣки* пошлетъ
Подарочекъ. *Пусть тѣшится подаркомъ.*

У г. И. О. П. Мельникъ говоритъ:

Не знаешь ты, что здѣсь
Хозяинъ я, *я—воронъ*. И что *когтей*
Моихъ теперь тебѣ не миновать.

[1]) У И. О. П. борьба Мельника съ Княземъ кончается надъ обрывомъ Днѣпра. Мельника убиваютъ охотники выстрѣломъ изъ ружья, а Князя уносятъ домой. Русалочка эту борьбу разсказываетъ матери, Русалкѣ:

Какъ *коршунъ разъяренный*,
Дѣдъ на отца съ угрозой наступалъ.

КНЯЗЬ.

Пусти, иль я тебя убью.

МЕЛЬНИКЪ.

Убьешь, коль совладаешь. А не то,
Какъ малаго птенца, тебя я
Унесу съ собою въ лѣсъ на старую
Осину и тамъ лицо твое когтями
Разорву и *выклюю глаза* и *сердце*
Раздеру на половинки и *брошу*
Въ Днѣпръ. Пускай *его тамъ*
Дочь моя найдетъ и *вдоволь посмѣется*,
Какъ посмѣялся ты надъ ней.

Сравните, г. Коршъ, и судите. У Зуева: «сердце вырывается когтями»; у И. О. П. — «лицо разрывается когтями», гораздо естественнѣе для когтей ворона. У Зуева: «выклевываются очи» и на дно рѣки посылаются для потѣхи Русалкѣ; у И. О. П. — «выклевываются глаза», т.-е. очи, но на дно рѣки не посылаются, ибо опять естественнѣе: глаза—величина очень маленькая, въ водѣ чуть замѣтная; зато у г. И. О. П. посылается для потѣхи Русалкѣ «въ Днѣпръ» нѣчто гораздо большее, именно «сердце, разодранное на половинки»...

Такимъ образомъ, несомнѣнно, если вѣрить г. Коршу, Пушкинъ этотъ монологъ заимствовалъ изъ книги, напечатанной въ 1877 году. Въ довершеніе всего этого, г. Коршъ, останавливаясь съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ на послѣднемъ стихѣ монолога Мельника и на послѣдующемъ, неправильномъ стихѣ Русалочки (Мама! Мама!»

и проч.), и даже стараясь передѣлать ихъ оба, замѣчаетъ съ своей неизмѣнной любовью къ г. Зуеву: «*Крѣпко ручается за добросовѣстность г. Зуева* неправильный стихъ, оставленный имъ въ полной неприкосновенности»...

Бѣдный Пушкинъ! Не вѣритъ ему г. Коршъ, чтобъ онъ не могъ написать неправильнаго стиха, но крѣпко вѣритъ въ добросовѣстность г. Зуева, который яко бы этотъ стихъ записалъ со словъ Пушкина, какъ и все остальное...

Какова добросовѣстность г. Корша, я не рѣшаю. Хочу думать, что онъ разыгралъ роль Городничаго передъ Хлестаковымъ, оставаясь вполнѣ добросовѣстнымъ человѣкомъ.

Во всякомъ случаѣ теперь несомнѣнно для всѣхъ, что г. Зуевъ обобралъ не только Пушкина, но и гг. Штукенберга и И. О. П., и что вся исторія о встрѣчѣ у Губера съ Пушкинымъ, который читалъ «Русалку»—выдумка «маститаго старца», который легкомысленно совершалъ, по моему, преступленіе противъ родины...

Я приглашаю г. Корша провѣрить мое «изслѣдованіе» и убѣдиться вмѣстѣ съ Б. Н. Чичеринымъ, П. И. Бартеневымъ, нѣкоторыми академиками и «старыми и молодыми знатоками» Пушкина, имена которыхъ г. Коршъ не называетъ, что всѣ они чучело гороховое принимали за бога...

«Филологическая критика, по словамъ г. Корша, ничего не имѣетъ общаго съ газетной»; занимаясь газетной критикой, я доказалъ, что фило-

логическая критика ничего не имѣетъ общаго съ правдой, съ литературнымъ вкусомъ, съ уваженіемъ къ великому поэту, съ уваженіемъ, наконецъ, къ наукѣ, если эта критика направлена фальшиво, съ самоувѣренностью непогрѣшимаго ученаго, который вообразилъ, что ночнымъ колпакомъ стихоплета можно пробить стѣну Пушкинскаго мрамора...

Аминь и Богу слава.

CCCLXXVI.

IX.

(«Новое Время», 21-го февраля 1900 г., № 8614).

Еще одно, послѣднее сказанье...

Я получилъ слѣдующее письмо:

«Въ послѣдней статьѣ о «Русалкѣ» Пушкина, у васъ (№ 8607) приведено нѣсколько отрывковъ изъ «Продолженія Русалки» г. И. О. П., причемъ вы, указывая на поэтичность нѣкоторыхъ стиховъ, называете ихъ «неправильными». Вы совершенно напрасно упрекаете автора въ неправильности стиха. Раздѣливъ строки по дѣйствительнымъ размѣрамъ стопосложенія, получимъ, безъ всякаго иного измѣненія приведенныхъ строкъ, вполнѣ правильное и звучное риѳмованное семистишіе, а именно:

Чуть плещется прозрачная волна,
О тихій берегъ ударяясь,
И тихій разговоръ со мной ведетъ она,
У ногъ моихъ струями разбѣгаясь;
И вторитъ ей задумчивый тростникъ,
При легкомъ вѣтеркѣ звуча и наклоняясь.
Какъ сладокъ ихъ таинственный языкъ!

«Искаженія, вѣроятно, принадлежатъ переписчику, какъ здѣсь, такъ и въ другихъ отрывкахъ, вами приводимыхъ. Вотъ какъ слѣдуетъ ихъ читать:

. . . съ ней по красотѣ
Боярышня бъ любая не сравнилась.
Жаль бѣдную, разлуки не снесла.
Здѣсь, баютъ, подъ мостомъ она
Въ тотъ день и утопилась.

«Монологъ Русалочки можно реставрировать, почти ничего не измѣняя:

...О, да, жива и все
Тоскуетъ по тебѣ и плачетъ, говоритъ:
«Когда-то съ нимъ увижусь я опять!»
И нонече, меня на берегъ посылая:
«Скажи ему,—такъ молвила она,—
Что все попрежнему его люблю и жду
Къ себѣ». Пойдемъ, отецъ, пойдемъ со мной.
Я покажу тебѣ хрустальный нашъ дворецъ
И рыбокъ золотыхъ, и чащу въ тростникѣ,
Гдѣ я одна при мѣсяцѣ сижу.
Пойдемъ!

«Наконецъ въ четвертомъ изъ взятыхъ вами у г. И. О. П. отрывкѣ можно разставить стихи такъ:

МЕЛЬНИКЪ.

Не знаешь ты, что здѣсь
Хозяинъ я; я—воронъ, и когтей
Моихъ теперь тебѣ не миновать.

КНЯЗЬ.

Пусти, иль я тебя убью.

МЕЛЬНИКЪ.

Убьешь, коль совладаешь. А не то,
Какъ малаго птенца, тебя я унесу
Съ собою въ лѣсъ, на старую осину,
И тамъ лицо твое когтями раздеру
И выклюю глаза, а сердце разорву
И брошу въ Днѣпръ. Пускай его тамъ дочь
Моя найдетъ и вдоволь посмѣется,
Какъ посмѣялся ты надъ ней...

«Кто такой г. И. О. П., мнѣ неизвѣстно, но ясно, что авторъ здѣсь не былъ ни переписчикомъ, не редакторомъ и издателемъ. Не естественно ли предположить, что г. И. О. П. издалъ чужую рукопись, представлявшую собою очень плохой кусокъ чужого же произведенія?

«Гр. Немировъ».

Очень можетъ быть, что г. Немировъ правъ. Г. Якушкину («Рус. Вѣд.» 1897 г., № 79) было извѣстно два продолженія «Русалки»: либретто Даргомыжскаго и г. И. О. П., но и онъ, очевидно, не догадывался, какъ и я, о томъ, въ какомъ видѣ напечатана «Русалка» г. И. О. П. Я

указалъ еще на «Русалку» г. Штукенберга (Крутогорова), о которой доселѣ никто не упоминалъ. Перечитавъ послѣ замѣчаній г. Немирова «Русалку» г. И. О. П., я убѣдился, что дѣйствительно стихи напечатаны безъ всякаго толка. Въ иныхъ мѣстахъ стихъ легко реставрировать, въ другихъ или надо выбрасывать лишнія слова, мѣшающія гармоніи, или измѣнить порядокъ словъ, или дѣлать незначительныя поправки. Монологъ Князя, изъ котораго приведено выше 7 стиховъ (Чуть плещется и т. д.), продолжается такъ:

Онъ о быломъ такъ много говоритъ,
И волны, и листы, и птичекъ голоса,
Всѣ дружно мнѣ поютъ о тѣхъ годахъ,
когда
Въ сіяньи радужномъ мнѣ счастья лучъ
блисталъ
И жаждой слухъ мой шепотомъ любви
Такъ долго и довѣрчиво ласкалъ.
О многомъ мнѣ поютъ всѣ эти голоса,
О многомъ мнѣ они напоминаютъ,
И въ сладкую, задумчивую грусть
Меня невольно погружаютъ.
А тамъ, близъ мельницы, скрываясь за
вѣтвями,
Укромный домикъ нѣкогда стоялъ,
Привѣтливо при мѣсяцѣ блистали
Рѣзными ставнями украшенныя окна
И въ сладостный пріютъ къ себѣ манила
Гостепріимно растворявшаяся дверь.
Но что со мной? Во снѣ ли вижу я!
По прежнему стоитъ онъ тамъ опять,
По прежнему оконца засвѣтились
И настежь растворилась дверь. Иду,

Иду къ тебѣ, пріютъ гостепріимный,
Пріютъ любви моей свободной и живой.
Какъ сердце вдругъ забилося въ груди
Привычнымъ трепетомъ желанья и любви!

Далѣе стихъ не такъ легко возстановляется. Но мысль автора стоитъ того, чтобъ обратить на нее вниманіе. Князь галюцинируетъ. «Въ окнѣ мелькнула тѣнь и въ сумракѣ растворенныхъ дверей знакомый обликъ показался»—онъ узнаетъ дочь Мельника. Она вышла на крыльцо, сошла «со ступенекъ, до мостика дошла и остановилась»:

Задумчиво и грустно въ даль глядитъ,
Глядитъ и чудною улыбкою лицо,
Какъ радужнымъ лучомъ, внезапно озарилось;
Дрожатъ полураскрытыя уста
И рядъ зубовъ, какъ снѣгъ бѣлѣя, блещетъ.
Но вотъ она немного отклонилась...
Постой, не уходи. Дай разъ еще прижать
Къ моей груди твой легкій и колеблющійся станъ,
Пусть только разъ въ твоихъ очахъ
Мой страстный взоръ отвѣтъ любви прочтетъ
И губъ моихъ твой жаркій поцѣлуй
Одинъ лишь разъ коснется и замретъ.
Исчезло все. Одна лишь мельница, скрыпя
Увѣчнымъ колесомъ, съ насмѣшкой злобной
Взираетъ на меня.

Но она ушла. Вотъ опять она явилась, въ другомъ нарядѣ, въ дорогой повязкѣ и жемчугахъ. Онъ ихъ узналъ, онъ кричитъ, чтобъ она сбросила ихъ съ себя—«Я ими рай, блаженство на муки ада промѣнялъ»,—но она не слышитъ,

подходитъ къ Днѣпру, наклонилась надъ нимъ. Онъ кричитъ: «Стой! Ни съ мѣста дальше. Холодная волна тебя не поглотитъ». Онъ бросается впередъ, но она «какъ воскъ растаяла опять».

Князь слышитъ голоса ищущихъ его охотниковъ и прячется отъ нихъ. Охотники уходятъ, заслышавъ пѣсни русалокъ. Остается одинъ Конюшій, который забирается въ мельницу и слышитъ «шабашъ» русалокъ на Днѣпрѣ, голосъ Князя и Русалки. Онъ передаетъ объ этомъ Ловчему, Ловчій Княгинѣ. Она негодуетъ на нерадивость охотниковъ и сама собирается идти искать Князя, но онъ является и надѣваетъ на нее ожерелье жемчужное, которое передала ему, очевидно, Русалка. Объ его свиданіи съ нею говоритъ только Ловчій, но имѣется ея монологъ, гдѣ она грозитъ мщеніемъ ему и Княгинѣ и приказываетъ русалкамъ собрать со дна рѣки жемчужное ожерелье, которое она туда бросила. Ожерелье душитъ Княгиню и она умираетъ, а Князь бросается къ Днѣпру. Онъ, очевидно, сходитъ съ ума. Онъ видитъ хрустальный теремъ, его тянетъ къ себѣ пиръ и «дикое веселье русалокъ», онъ зоветъ слугъ, чтобъ они проводили его въ теремъ царицы:

Иль вы боитесь по ступенькамъ
Въ хрустальный теремъ къ ней сойти,
Иль въ камышахъ, кустахъ днѣпровскихъ
Къ нему дороги не найти?
Пустое, братцы, посмотрите:
Здѣсь путь не дологъ и широкъ,
Меня зоветъ она... Глядите!

И онъ бросается въ Днѣпръ. Еслибъ возстановить правильность стиха въ этомъ «Продолженіи и окончаніи Русалки» г. И. О. П., то его можно бы назвать лучшимъ изъ всѣхъ *окончаній* «Русалки», а Зуевское самымъ ничтожнымъ, какъ рабскую компиляцію по Пушкину, Штукенбергу и г. И. О. П. Я долженъ еще прибавить, что всѣ продолжатели Пушкинской «Русалки», не исключая г. Зуева, хорошо были знакомы съ «Днѣпровской Русалкой».

Мнѣ не хочется, чтобъ это «дѣло» о «Русалкѣ» осталось разбросаннымъ по газетамъ и журналамъ. П. А. Ефремовъ, по моей просьбѣ, прислалъ мнѣ все то, что являлось въ періодической печати о Зуевской «записи». Онъ всегда собиралъ о Пушкинѣ все, что ни являлось въ печати, и собиралъ все Пушкинское, печатное и рукописное. У него превосходная библіотека и огромное собраніе гравюръ и литографій. Благодаря ему, мы имѣли прекрасныя изданія Пушкина, Жуковскаго, Лермонтова, Полежаева, журналовъ Новикова и проч. Онъ напечаталъ полное собраніе сочиненій Радищева, но оно было задержано цензурою тому много лѣтъ назадъ. Мнѣ думается, что пора бы снять запрещеніе съ книги Радищева. П. А. Ефремовъ одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ и талантливыхъ знатоковъ нашей литературы, которые не знаютъ другой радости, кромѣ радостей, которыя доставляетъ она. Едва ли кто,

кромѣ того, знаетъ такъ хорошо, какъ онъ, ея домашнюю, такъ сказать, исторію, ея скитанія по журналамъ, по цензурамъ, ея анекдотическую часть и т. д. Въ присланномъ имъ мнѣ экземплярѣ «Русалки», изд. «Рус. Архива», на внутренней сторонѣ обложки я нашелъ слѣдующія его строки, указывающія на то, что Пушкинъ и не писалъ «Русалку» далѣе того послѣдняго стиха, который намъ извѣстенъ:

«Кажется, никто изъ рецензентовъ не обратилъ вниманія, говоритъ П. А. Ефремовъ, что въ черновыхъ бумагахъ Пушкина между болѣе или менѣе отдѣланными стихотвореніями встрѣчаются наброски изъ старыхъ пьесъ еще за нѣсколько лѣтъ до ихъ окончательной отдѣлки. Изъ «Русалки» такіе отрывочные наброски тоже встрѣчаются въ разныхъ мѣстахъ, но *исключительно только* изъ той ея части, которая заканчивается появленіемъ *Русалочки* (Ср. Якушкина въ «Русск. Старинѣ» 1884 г., іюль, стр. 50, октябрь, стр. 77—78 и ноябрь, стр. 349 и 355). Дальше же этой сцены нѣтъ *ни единаго* стиха (т.-е. изъ Зуевской части). Правда, въ «программѣ» (октябрь, стр. 78), указаны въ концѣ «Охотники», но и это относится къ 4-й сценѣ, когда Княгиня посылала ихъ за Княземъ, а русалки изъявили желаніе: «не догнать ли *ихъ* скорѣй». Говоритъ тутъ только *одинъ* Ловчій, но вѣдь Князь спрашиваетъ: «Зачѣмъ *вы* здѣсь?»

Всѣ эти замѣчанія г. Ефремова очень цѣнны. Толкованіе имъ программы Пушкинской «Ру-

салки» вполнѣ правдивое и ясное, тогда какъ толкованія г. Корша и другихъ направлены весьма односторонне.

И. А. Шляпкинъ, разбиравшій рукописи Пушкина, не бывшія въ рукахъ г. Якушкина и среди которыхъ онъ нашелъ до 200 неизданныхъ стиховъ Пушкина въ видѣ набросковъ, говорилъ мнѣ, что и въ этихъ бумагахъ нѣтъ никакого слѣда по работѣ «Русалки».

Г. Онѣгинъ пишетъ мнѣ изъ Парижа, что и въ рукописяхъ Пушкина, у него хранящихся, нѣтъ ничего такого, что напоминало бы «Русалку».

Сколько мнѣ извѣстно, и Л. Н. Майковъ, редактирующій академическое изданіе Пушкина, не нашелъ ни единаго стиха, относящагося къ окончанію «Русалки», въ тѣхъ рукописяхъ, которыя изучалъ и изучаетъ онъ.

А. Суворинъ.

107

2007088852